

ЭЛЬЧИН ГУСЕЙНБЕЙЛИ  
*Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ*

## ПОЛЫННЫЕ ЧАЙКИ

Роман

...кисет в ботинке,  
ботинок на шкурке,  
шкурка на шкирке,  
шкирка на шерсти,  
шерсть на марале,  
марал на увале,  
словить едва ли...

Небывальщина, сочиненная автором.

### 1. МИРАЖ СУДЬБЫ

Чтоб написался этот роман, мне надлежало проникнуть в генетическую память деда моего, доискаться корней проклятия, преследующего наш род долгие годы, как призрак. Выяснить, кого, как, за что убил мой дед, пролить свет на темные пятна в нашей родословной. Но долгое время это не удавалось. Задача была не из легких, то есть, чтобы докопаться до истины, не требовалось кому-то дать в лапу или же искать блата, чтобы сдать экзамен; просто надо было запастись терпением как совестливый носитель генов. Я знал только то, что надо жить искомой целью, если хочешь достичь ее, тогда все оказываются твоими помощниками.

Я должен был прочувствовать сердцем, нутром дедовские переживания так, как ощущаю солнечный свет, вкус вишневого сока, абрикоса во рту, как запах полыни, влезть в окружавшую деда ауру (видали такую наглость?) и, чтобы войти в дедовскую шкуру, поворошить каждый закуток своей памяти, разбудить дремлющие ощущения, заплесневелые, замшелые чувства. И разбудить осторожно, не с бухты-барухты, как трубный зов карая или

барабанная дробь давала, некогда поднимавшие моих предков на бой. Все должно было просыпаться мало-помалу, как утреннее дуновение, оживать постепенно, как фиалка, освободившаяся из пут снега. Будь вы настроены полиричнее, я бы сказал: мои воспоминания должны просыпаться... как молодожены в медовый месяц... У иных, знаете, и воспоминаний-то нет, потому им и опасаться нечего, что что-то запомнят.

Я же, как человек внимательный, переберу-переворошу все – со дня смерти моей «гожа», то есть бабушки по матери, и до момента, когда впервые вскарабкался на макушку дерева. Оба эти события оставили глубокий след в памяти моей. Когда умерла «гожа», мне было три годика, и я впервые заплакал. Плакал не от горя, а от страха. А плакал ли до того дня – не припомню.

Как-то поутру, встав с постели, я долго играл на паласе, который был разостлан посредине комнаты. На паласе были изображены всякие разные птички, зверюшки. Бывает, дети замечают то, чего не видят взрослые. Я так увлекся, что забыл обо всем на свете. Пришел в себя, когда меня поразила странная тишина. Я испугался и заревел. Странно, что никто не услышал моего рева, иначе тут же кинулись бы в комнату и стали бы успокаивать меня. Но мой рев разносился по всему дому и безответно возвращался ко мне самому. Я встал и вышел во двор. И там ни души. Вдруг из соседнего дома – дядино – плач. Я – туда. Вижу, женщины в черном обвели мою «гожу», уложенную на полу, и тихо причитают-плачут. Я потопал к маме моей и, прильнув к ней, проторкнул голову под черную шаль, всхлипывая, стал обнюхивать Ее груди. Так и забылся сном.

Второе событие – лазание на дерево – запомнилось тем, что я начертал имя девчонки, всеобщей любимицы нас, мальчишек, выше всех и, спускаясь вниз, сорвался и шмякнулся оземь, да так, что очухался только через несколько часов. И увидел плачущих надо мной маму, братишку и сестренку, но виновницы моего «подвига» среди них не было. С тех пор я возненавидел любовь, считая, что от нее одни синяки и шишки.

Все это хоть и было сугубо личными воспоминаниями, но имело отношение к дедушке моему, потому как его клетки были в плоти и крови моей. Но он не мог сопереживать моим чувствам, находясь на том свете. А мне вот надо было войти в его шкуру по велению судьбы. Долгое время не мог вообразить, вжиться в дедушкину душу. Но, вороша свою память, близился к нему. Помимо двух упомянутых событий, первое, что приходило на память, было – ива Билала у моста, где мужчины собирались на посиделки, гранатовое дерево у входа в наш двор («дерево Усуба»), земляная печь-тендир во дворе семейства Сейфаддина – свидетель моей сломанной в детстве руки, затхлая, забитая паутиной хибара Гюльсенем, доставшаяся ей от старухи-бобылихи да еще похожая на жилище Бабы-Яги, «човустан», то есть огородное хозяйство Зариш, жившей по соседству с домом Миралы. Эти старушки, Гюльсенем и Зариш, разделили участь своих предшественниц-бобылих, но несли тоску бездетности про себя, пряча ее под закопченными потолками и цветастыми стегаными одеялами. Я, как помню себя, считал, что эти бобылихи-сестры-двойняшки. Из-за сходства их неказистых убогих жилищ и судеб. Обе были позабыты-позаброшены своими близкими.

Много раз я заглядывал в их полутемные, пропахшие сажей жилища, наслушался рассказов о моем дедушке, о легендарном дяде его Фархаде, который в одиночку отбил у закордонных южан семь своих верблюдов и на гнедом коне не раз лихо пересекал пограничный Аракс, и, внимая этим преданиям, вдосталь полакомился домашними сладостями, отдававшими чем-то лекарственным. Слышал я от них и о том, как в один божий день, ранним утром появился некий странник со стороны Ширвана, согбенный загадочный старец, направился на кладбище и исчез. С любопытством слушал и споры бобылих о приметах того старца, схожего с моим дедом. Одна из них узнала деда по глазам, другая – по осанке и фигуре. Их мнения расходились, и я до конца не смог уяснить, какие у деда были глаза – карие или зеленоватые, и какого он был роста – среднего или высокого.

Впоследствии я понял, что каждая из них хранила в памяти не образ деда моего, а образ воображаемого человека.

Разговоры этих старух, семенивших по селу со скрюченными спинами и просиживавших день-деньской под шелковицей на углу возле дома Миралы, не иссякали, а когда уставали ляды точить, уходили в свои жилища и оставались наедине со своей неласковой долей. Мне казалось, что у них был уговор с судьбой о неразглашении тайны между ними, и они не хотели делиться ею ни с кем. Быть может, эти-то тайны и придавали смысл их жизни, иначе какой прок был бы в подобном существовании.

Первый костер в праздник Новруз я видел на том самом углу-перекрестке. Впервые я покинул пределы нашего двора. Село для меня было еще не исследованной вселенной. И в этом пространстве мне предстал отсвет пламени, взметнувшийся к нему, потом и сам костер, и люди, столпившиеся вокруг. Хотя я и не осознавал значения этого грандиозного празднества, я нес в душе память о его искрометной феерии и, наверно, с того дня уверовал в то, что Новруз – это святой байрам. Новруз – не только шакар-бура, пахлава или традиционные игрища с боем яиц, сваренных вкрутую, – это было символом сплочения, единения людей, и совместное празднование его доставляло упоительную радость. Потому еще за неделю до завершения торжеств я уже сожалел, что байрам закончится. Как это ни покажется странным, меня даже угораздило пойти на «гулаг-фалы» (гадание понаслышке) к домам тех старух-бобылих. Может, мне хотелось подслушать их тайные разговоры с судьбой своей. И судьба их, по моим представлениям, выглядела черной, как закопченные потолки их жилищ, и то, что мне на роду было написано, судя по выбранному мною способу гадания, должно быть начертано копотью их керосиновых ламп. Мое особое внимание к бобылихам в этом повествовании связано с тем, что они были ровесницами моего деда. Все эти думы о былом нахлынули в канун Новруза. Отправляясь на работу по аллее, обставленной соснами и тополями, я внимал весенним гимнам птиц.

Ощущал свежее дыхание пробуждающейся земли, деревьев, кажется, слышал биение птичьих сердец.

Я мысленно возвращался в прошлое, вспоминал свои весны, дни моих Новрузов, дни, когда жизнь кажется праздником и тебя захлестывает упоение жизнью.

Я думал об этом, сидя в кафе у станции метро «Дружба народов» и рассказывая о своих чувствах приятелю Т., это настроение не покидало меня и в минуты размышлений перед сном грядущим, и даже, кажется, во сне; птицы между тем щебетали, верещали, пели без умолку, хлопотали о своих птичьих делах; уже вечерело; и, быть может, и пернатые, да и мы сами томились предчувствием скорого расставания с закатным солнцем; машины, наперебой сигналившие на перекрестке, в заторе, и не совсем уместно в этой какофонии звучащий азан – призыв к молитве – не могли отвлечь меня от неотвязных мыслей. Солнце еще не скрылось за кроной развесистого тополя. И его лучи прочертили на нашем столе параллельные линии.

За соседним столиком осушались и сменялись кружки с пивом, и те, которым было уже невозможно, спешили в туалет на отшибе возле базара. А мы с приятелем все говорили и говорили, и счет пивным кружкам потеряли. Слушали вполуха, отвечая рассеянно, думая о былых временах.

Вспоминал недужных и окоченевших людей, скукожившихся у очага на земляном полу кирпичного строения; плоскодонки, которые двигались вверх по течению Аракса; конюшню во дворе дома на старом селище; мгновения жарких схваток силачей Гарахана с Махмуд-беем – на речном острове и Айси-дере... все эти видения будили во мне, я чувствовал, закатное солнце, древний дребезжащий голос муэдзина и тень раскидистого тополя. Такие же тополя осеняли наш старый сельский двор; при свете солнца они выглядели величаво-прекрасными, и будь герб у нашего села, эти деревья заняли бы в сельской геральдике достойное место, во всяком случае, уж я бы постарался... Вот я сижу у Аракса в тени тополей, выстроившихся вдоль кромки, свесив ноги в прохладные струи; бегу босой по пыльной

проселочной дороге, барахтаюсь, купаюсь в реке; вот мы, смастерив плот из камышей, плывем по реке, лежа на спине и глядя в высокое небо, от урочища «Сёюдлер» до «Хаджи-йери», где к берегу шла большая труба; светлая печаль охватывала меня; память перескакивала в недавнее прошлое, в отель «Хеят Редженс», где я имел честь познакомиться с великим Туром Хейердалом (царствие ему небесное), и вспоминал суждения этого наивного старца об общности корней норманнов с нашими предками. Когда я писал эти строки, я чувствовал в равной степени блаженную радость и щемящую грусть. Грусть от бессилия воссоздать целостный образ деда, его живое существо с теплым телесным запахом пота, с пахнущими кожей ботинками... С другой стороны, само воспоминание согревало душу, дарило радость, и воплощение всего этого в слове, писательство вселяло блаженное чувство, и я чувствовал себя демиургом, властелином этого закатного солнца, щебечущих птиц, орущих-ревущих машин и даже муэдзина, зовущего правоверных к молитве (Астахфуруллах! Прости, Господи!). Кажется, я сморозил ересь, но если я признаюсь в этом, и вас, господа, джентльмены, коллеги, не убудет, если признаетесь в этом. Чего греха таить. В общем-то все, что я наговорил тут, – вроде самоутешения, то есть всего лишь предлог или способ выиграть время, чтобы определиться с тем, что и как собираюсь поведать. Однажды, направляясь на работу на ишаке, пардон, на маршрутном такси, я увидел мальчика, пасущего барашка в городском парке, и хотел было начать повествование с этого юного чабана. Да не получилось. Такой зачин, мне показалось, производит впечатление искусственного патриотизма некоего поднаторевшего лукавого рассказчика. Чтобы добиться желаемого эффекта, я перебрал в памяти все подробности, могущие пригодиться, от колхозного хлева в «Ял-оба» (надеюсь, читатели простят за частое повторение этого родного для меня местечка) до задворков дома Мухасты, но... сдался на милость судьбы, признав свое поражение. Ибо все реалии мне казались иллюзорными, как мираж. Мне нужна была реальность, столь же манящая и милая сердцу, как образ любимой моей, и столь же шершаво-

достоверный, знакомый, облезлый и родимый, как облезлый хребет нашего ишака, чтобы, уцепившись за ее подол, я мог вернуться в прошлое. Но оно, это прошлое, было очень далеко. И доходило до меня урывками, как дрожащий голос чабана, пасущего отару в горах. Этот чабан погонял овец на заросшем полынью сером холме, который мы величали горой, собирал земляные яблоки, искал трюфели или грибы для домочадцев, шарил под кустами чертополоха в надежде найти яйца самки рябчика, мурлыча песни о днях минувших, днях нынешних и абстрактном (или иллюзорном) будущем, искал ответа на вопросы, заботящие его, а когда не находил ответа, хмурил брови, пенял на себя и проклинал день, когда родился. В такие моменты он терял равновесие, ноги его соскальзывали с мелких песчаных кочек, бывало, оступался и падал, и благодарил Всевышнего, что обошлось без перелома старых костей, и вообще ругал себя за то, что допускал дурные мысли и сетовал на жизнь. Но ему и в голову не приходило (или терпения не хватало, а то и желания вовсе не было) искать вестников – «полынных чаек». Кабы он их нашел, то на многие мучившие вопросы нашел ответ.

Я ощущал запах далеких полынных просторов. Нет запаха для меня дорожке и роднее. В серой полыни, кажется, отозвались дух деда моего, биение его сердца, топот и пыл его гнедого коня... пыль и прах исхоженных троп... Мне бы начать свои поиски с этого самого обстоятельства.

Запах полыни чудился мне, даже когда я в метро отправлялся на свою службу-работу. Вспоминались мне заросли на склонах серых холмов, и я давал волю своему воображению блуждать в виртуальном пространстве и времени. Я видел себя сидящим в этом полынном мире и созерцающим возню мелких муравьев, черных таракашек, кативших сообща комочки кизяка; вокруг царила тишина, которую порой нарушало стрекотание кузнечиков и неведомых по имени букашек. И вдруг неожиданно для себя я начал напевать песню «Сары гялин»<sup>1</sup>. Удивительное дело, дед мой влюбился в мою будущую бабушку, женился на ней; а бабка была не желтоволосая, а

---

<sup>1</sup> Буквально «Желтоволосая молодница» – народная лирическая песня.

черноволосая. Кто знает, может, дед пережил еще какую-то «лав стори». Во всяком случае, стоило об этом поразмышлять. Но второй куплет песни напоминал мне о чем-то. Ее все знают и помнят, но я тут приведу слова для тех, кто запомнил:

Bu dərənin uzunu,  
Coban, gaytar guzunu,  
Nə olar bir də kögəm  
Yarın üzünü...<sup>1</sup>

Случилось так, что дед мой в молодые годы оказался вдали от любимой. Потому, естественно, он мог мечтать о том, чтобы хоть разок увидеть избранницу сердца. Но я не мог-таки докопаться до сокровенной сути этой щемяще-томительной песни, суть ускользала, но мелодия долго еще звучала в душе моей.

Может, еще одна причина мешала моей полной «реинкарнации» в дедовское существо. Я пошел в деда по матери, уродился белолицым, белокожим. А дед по отцу, «Махмуд-бей, был смуглый, и отец мой продолжил эту «традицию». Стало быть, мне досталась половина дедовских хромосом или как их там... Мне же казалось, что этой половинчатости недостаточно для полного вживания в образ. Мне стало ясно, что для написания задуманного повествования мне не хватает наследственной дедовской энергии, и эту недостающую энергию я могу, может, уловить и перенять от каких-то вещей, хранящих его тепло, ну, хоть от какой-то сохранившейся одежды, пуговицы, любимой безделушки. И тогда, войдя в поле этой энергетической ауры, я смог бы перенестись в прошлое. А вещей-то от деда никаких. Во всяком случае, мне это было неизвестно. А если и

---

<sup>1</sup> Приближенный перевод:  
Долы долгие, как дни,  
Чабан, ягненка верни.  
Хоть бы раз на облик милой  
Поглядеть со стороны...



остались кое-какие реликвии, то они теперь в покинутом очаге, – на оккупированной врагом сторонке. В надежде найти нечто, могущее послужить делу, я в ветреный день отправился в поселок, находившийся в трех десятках километров от пропахшего бензиновыми выхлопами мегаполиса, – там жил мой старший брат. Сказал о том, с чем пришел, и по выражению его лица понял, что допытываться, расспрашивать ни к чему, и мои расспросы будут восприняты им как недоверие к его искренности. Он ничего путного не мог припомнить. Разве только то, как мы играли в «лямки» перед хлевом, и то, как однажды старший брат соседского мальчишки Али задал ему леща за то, что не хотел умыться. Изгнанничество портит память. Потом я отправился на поиски старых соседей и нашел их на временном пристанище в Муганской степи, на истрескавшейся от суши земле с чахлой и жухлой травой. И здесь мои попытки оказались тщетными. Доля беженская, нужда, мытарства лишили этих изгоев памяти, и теперь они ютились в щитовых временках, в обиде на жизнь и судьбу, без надежд на будущее и проклиная белый свет. Жизнь бурлила далеко от них. Неверие и апатия не позволяли им попытаться выкарабкаться, поискать лучшей доли, – в них, кажется, заглохла охота жить. Для них не имело значения даже то, где хоронить умерших. Новозаложенное кладбище стало не столько местом поклонения, сколько знаком проклятия, потому что никак нельзя было умирать в такую пору жизни, в лихой час судьбы. Умереть означало сдаться на милость шайтану, услужить-удружить ему... Смерть одного сокращала жизнь других.

Я видывал дни, когда люди с помпой провожали призывников в армию. Ребята рвались на службу в просторах российских, тогда еще советских, а значит, родных, отечественных, с мечтой о встречах с наташами, марусями, нетерпеливо дожидавшимися их. Но теперь, при воспоминании наивного прошлого, думая о своем послушании, беспомощности и недалекости, им становилось горько и тошно, они даже не утруждали себя воспоминаниями о людях, в свое время избавивших и оградивших страну от бедствия.

У старейшего сельчанина с памятью было неладно. Поглаживая свою трость, он с усилием вытаскивал из памяти какие-то фрагменты – о том, как некогда Дадаш и Абдулали переправляли через границу ворованный чай, запах которого слышался издали, как они зажигали на берегу костер, оповещавший контрабандистов об отсутствии пограничного патруля на данном участке; и вдруг ни с того ни с сего задавался вопросом о людях, которые были намного старше его и давно покинули мир: «Как-то сложилась судьба Мамеда и Атамоглана? Вернулись ли они с войны?..»

Никто не мог внятно припомнить события дней минувших, что произошло и чем завершилось. Теперь кто-то искал либо пропавшую овечку, либо свой протез. Но ведь были и другие, давние деньки. Все село тосковало по игитам, которых проводило на войну, мечтало услышать их голоса, ржание их коней, звучащее, как музыка.

И глядя на моих земляков, я проникся скептическим отношением к запылившемуся каранаяу, к давулу-барабану с надорванной перепонкой – реликтом наших предков.

Но эти невеселые думы, увиденные картины не смогли отвратить меня от моего намерения, потому что, я полагал, должен был состояться какой-то прорыв, контакт, озарение. Отец мой, смыкавший расстояние между нами, ушел в мир иной. Мне почему-то вспомнилось, как в старом нашем доме, обидевшись на взрослых, прятался в дощатом шифоньере, в углу которого стояли хромовые отцовы сапоги, и я сам, того не ведая, искал прибежища у духа деда моего, заслуга которого заключалась в этом утлом пространстве...

Шифоньер был сплошь изъеден древоточцами и пришел в полную негодность; он поскрипывал, потрескивал от своей никчемности и одиночества, и, в конце концов, когда он осточертел всем, мы вынесли и выкинули его на свалку, где он некоторое время послужил обиталищем крыс, а в завершение всего, развалившись и истлев под дождями, снегами, смешался с землей. В те времена никто из нас не помышлял о том, что в старом шифоньере заключалась частица духа наших предков. Нам помнилось

только, как по ночам из недр шифоньера доносилось похрустывание червей, точивших втихомолку древесину.

Отец купил те хромовые сапоги, которые хранились в шифоньере, у бабушки семейства Кисечи – Зивер. По одним рассказам, дед мой подарил ей эти сапоги, когда однажды, при последнем хождении за Аракс перехватил завистливый взгляд Зивер-арвад, уставившейся на его шикарную обувь; по другим сведениям, сапоги продали ей аскеры, когда они везли в село тело умершего моего деда, то есть не продали, а обменяли на банку сливочного масла. А позже каким-то образом сапоги вернулись к своему исконному наследнику.

Говорят, что Зивер-арвад сама вернула их моему отцу после того, как ее сына унесло Араксом.

Может, из суеверного страха перед судьбой.

Кожаные сапоги, помнится, ссохлись, одежда, когда ее долго не носят, садится. (В Стамбуле, посетив «Топхану», я обратил внимание на то, как сморщилась обувь и осело одеяние последнего султана Мехмета). Но сапоги деда моего канули в нетях. Я пустился на поиски его янтарных четок, серебряного портсигара и кожаного ремня. Они тоже исчезли, то есть, брат мой продал их. А бабушка моя раздарила отцовские вещишки кому попадется. Наверно, тем самым хотела, чтобы память об отце моем жила не только в ее душе, но еще в наглядных аксессуарах знакомых и близких. Видимо, когда дети вырастают, любовь к ним переносится на безделушки, некогда облюбованные ими. По прошествии времени эти предметы ставятся, незаметно для самих хранителей, в разряд антикварных. Что касается меня, то я в детстве злостным образом сбывал с рук все старинные реликвии, что были в доме. В этом смысле, может, я являлся одной из первых ласточек рыночной экономики. И, сам того не ведая, повторил путь буржуазных революционеров и внес лепту в основу грядущего суверенитета. Увы, я не соображал, что вкупе с реликвиями распродаю и память о дедушке. И это отомстилось мне, когда я стал взрослым. Заодно с памятью и духом деда

моего сбыли с рук и земли... я не мог доискаться ни единой пуговицы с отцовской одежды. И это понятно: я их «продул» в детстве, когда играл в «дюйме-дюйме»<sup>1</sup>, и за это был бит не однажды.

При всем моем опыте по части «битости» мне казалось, что при жизни отца я не смог проникнуться любовью к нему; теперь же я испытывал потребность в этой любви; живи это чувство во мне, я мог бы причаститься к энергетической ауре деда моего... Если бы я мог прочувствовать в своем существе отцовское начало, продолжение отца, то это означало бы, что я вошел в его «код». Мои поиски ауры деда совпадали с этой запоздалой проснувшейся любовью к отцу. И не было уже на свете матери моей, чтобы я мог воспринимать отраженные в ней, через нее флюиды отца. Оба в мире ином. Но теперь я должен был найти нечто, чтобы вернуть им самим их любовь. Чтобы найти это нечто, мне надлежало перебрать в памяти рассказы бабушки моей и деда – Мелик-баба.

Пока память твоя жива, пока ты живешь на этом свете, ты должен воскресить, воссоздать думы и чаяния деда, прожитую им жизнь, говорил я себе. Быть может, это навязчивое желание объяснялось тем, что мое собственное житье-бытье представлялось мне очень монотонным и тягостным, и меня манили иная жизнь, полная приключений, желание мысленно пережить, имитировать ее...

Однажды произошло нечто чудесное. Это чудо было как внезапная гроза с дождем в жаждущей влаги пустыне. Чудо заключалось в портмоне, сшитом из кожи дедушкиных сапог и завалившемся на дне бабушкиного сундука. От портмоне пахло потом, конечно же, дедушкиным, и еще – духом старой конюшни.

Жизнь деда напоминала сказ, и бабушка, рассказывая о нем, часто тихо выпевала-выводила под нос мелодию.

И я начал повествование о деде с воспоминаний, услышанных из уст бабушки, вернее, со дня, когда я впервые услышал их.

---

<sup>1</sup> «Дюйме-дюйме» (букв.) – пуговица. Отсюда и название игры.

Очевидно, по этой причине мое повествование должно было выстраиваться в духе песенного сказа, вбирая в себя попутно ноты быстротекущей жизни. Тон задавала моя жена. Что-то вроде до-ре-ми...

### **До-ре-ми или трава проклятья**

Интонации моей жены напоминали плохой вокал. Голос ее то взвивался с низов на высокие ноты, то вновь переходил на альтовый регистр. Голос моей жены был обратно пропорционален ее физической красоте, и порой я даже сокрушался и жалел, почему я не женился в свое время на немой девушке. Речь не о самом голосе, а о дисгармонии исторгавшихся ею нервных нот. Вернувшись домой, она с порога бухнула розовую сумку на пол в прихожей (мы купили ее в захудалой сумгаитской лавке с обшарпанными и пожелтевшими от дождей стенами), так же нервно второпях стала снимать розовые туфельки, потеряла равновесие и грохнулась бы вверх тормашками, не успей я подхватить ее. Скинула и жакет. Я предчувствовал: сейчас грянет буря. И не ошибся.

– Я была у гадалки... – произнесла она со странным выражением на лице. Светло-голубые глаза колюче-укоризненно пронзили меня. Эх, жаль этих глаз. Сейчас это были глаза разъяренной волчицы, я сообразил, что повинен в том, что ей пришлось прибегнуть к услугам гадалки, и продолжал удивленно созерцать ее. Чтобы выглядеть непричастным и показать, что ничего не зависит ни от меня, ни от гадалки, я выдал невинную реплику, правда, не без внутреннего мандража:

– Что на тебя нашло?.. – Голос мой осекся и перешел в бормотание, и я с неожиданной для себя ловкостью цапнул муху, жужжавшую над ухом, и отшвырнул. Хотя муха поплатилась обломанным крылышком, она не перестала нахальничать и вскоре заползла на большой палец моей босой ступни.

– Не видишь, что с нами творится? – на сей раз голос жены прозвучал тихо, и она с жалобным видом воззрилась на меня. – Все из-за тебя! Ты и сам знаешь!

– Из-за меня?

– Гадалка сказала: «Рок довлеет над мужем твоим!» – голос ее взвился с отчаянным крещендо.

– Я не верю в такие бредни! – отрезал я и, взяв сигарету с подоконника, закурил.

– Вот-вот, ты крепче держись за свою «соску» вонючую. Потому-то у нас дела не ладятся... Знаешь, что она мне говорит? – Я не успел сделать затяжку, она выдала: – Говорит, что на твоей родне мужчиной клеймо проклятья!

– Ну да еще!

– Да, да! Представь себе! А это клеймо исходит от третьего колена... От деда твоего. И тут, говорит, замешана женщина... – Моя благоверная метала грома и молнии, казалось, готова была вырвать мое бедное сердце, выжать из него все соки, смять, раздавить... Мне уже чудилось, что сердце мое трепещет у нее в руках. – И у тебя смута в душе... То-то дергаешься...

– У меня? Какая такая смута?!

– Гадалка всмотрелась в твою фотографию и сказала, что проклятье, довлевшее над дедом, теперь приходится на твою душу... Как самого младшего продолжателя рода...

– А как же...

– И этот наговор-«джаду» на вас наколдовала одна женщина. Она и сейчас живет-здоровствует.

– Да ты что, спятила? Дед-то давным-давно умер, и кости истлели... А как может эта допотопная баба дожить до наших дней?! Не ворона ведь...

– Не знаю уж как. Этой гадалке все верят, хочешь, сам сходи к ней. Она и говорит, пусть муж твой придет ко мне, я ему все раскрою. А ты, говорит, меня отблагодаришь своими серьгами.

– И ты согласилась?

– А как было не соглашаться? Мне здоровье моих детей дороже. С самого рождения хворают. Я за ценой не постою. Надо будет – и дом продам. Лишь бы сняла порчу с нашего очага, наговор этой суки отвела от нас...

Она подошла к окну и в очередной раз разразилась проклятиями в адрес хозяев новостроящихся домов, выраставших напротив.

– Не город, а вертеп. Все загородили, загроздили, дышать нечем. Того и гляди, нагрянут и скажут: перебирайтесь в другое место, здесь, видите ли, живете незаконно...

– Кто скажет?

– Они.

– Кто такие «они»?

– Ну, они самые! Лиходеи! Злыдни!

– Лиходеи только в сказках бывают. К тому же, если каждый будет насыпать анафему на этот бедный город, то, глядишь, и беду накликают. – Я попытался разрядить обстановку шуткой.

Но мои слова не возымели действия, она ехидно зыркнула на меня и перешла в другую комнату переодеваться, я предпочел умолкнуть, чтобы не нарваться на очередной взрыв, тихонько ретировался и отправился куда глаза глядят.

То, что жена готова была отдать гадалке серьги, которые она вынудила меня купить после долгих словопрений, говорило о серьезности ситуации.

Действительно, в последнее время у нас «погода в доме» испортилась. По сути разлад начался еще с тех пор, как мы только поженились. А теперь и вовсе худо стало. В последние дни кто-то названивал к нам домой, пугал, страшал выселением, даже угрожал смертной расправой, и причина такой ярости анонимных шантажистов была совершенно непонятна. «Ведите себя хорошо, иначе пеняйте на себя... если вам жить не надоело...». И так далее в том же духе. Такие вот угрозы. Сперва я было счел, что это телефонные хулиганы, потом звонки участились, и мне не оставалось ничего другого, как

увезти жену и детей к тестю и долгое время вести «заочную» семейную жизнь.

Нас выводили из колеи и совпадавшие некстати дни чьих-то похорон, поминок, обручений, свадеб. В общем, радости было мало. Единственная отрада – какие-то школьные успехи детей, но эти чувства длились недолго, так как школа теперь обернулась морокой, то и дело приходилось раскошелиться на неофициальные взносы и подношения. Дошло до того, что мы поменяли не одну школу, где учились дети, но в конце концов эти перекочевки нам надоели, и мы смирились с судьбой. Но это еще не все. Самое огорчительное, пожалуй, то, что пропал из дома кролик, которым забавлялись наши детишки. Как в воду канул. Вероятно, его выманила соседская желтая полосатая кошка, похожая на тигренка, потому как она частенько мяукала, глаза на наш балкон. Позже у нее народились котята, и дети, подняв в руках кролика, радостно демонстрировали его котяткам, заманивая их.

Потом... мой сынишка позвонил мне и скорбным тоном сообщил, что кролик умер, вернее, его трупик обнаружили возле кошачьего потомства.

По мнению жены, это был плохой знак, какая-то угроза нависла над детьми, ибо кролик не мог бы умереть просто так, естественной смертью. Я был вынужден с почестями похоронить кролика. Ночью зарыл тушку в свалке на школьных задворках. А накануне перед этим «ритуалом» мы просидели молча весь вечер, не глядя друг на друга, даже телевизор не включали. Мы так не печалились, пожалуй, даже когда умерла бабушка. В тот вечер мне вспомнился рассказ Афаг Масуд «Смерть кролика»...

Наутро все, казалось, позабылось, и мой карапуз, взяв серый выцветший кожаный мяч, устремился во двор, и вскоре донеслись звонкие голоса и крики мальчишек, гонявших мяч, и мы с женой вздохнули с облегчением; но настроение дочки ничуть не изменилось, она застыла у окна, глядя на играющих во дворе мальчишек, на своего братишку, и губы ее тронула горькая усмешка; я понял, что скорая забывчивость брата ей не по



душе, то есть такая короткая память в ее глазах выглядит чуть ли не изменой; она выводила пальцем на окне какие-то невидимые нам черточки.

В те дни случилась еще одна беда: соседская кошка загрызла своих же котят. Хотя, казалось бы, чужие котята, но наши дети привыкли к ним, умиленно наблюдая с балкона за их веселой возней, точь-в-точь, как малыши резвились. То, что котята стали жертвой породившей их матери, тоже вселяло тревогу и вызывало дурные предчувствия; во всяком случае, моя жена усматривала какую-то связь между кроликом и котятами. Возможно, наш кролик воспытал чувствами к кошке и в отчаянном порыве бросился с балкона и стал жертвой своей любви. А кошка сожрала своих детенышей из-за злой и безумной досады...

Лучшее место, чтобы развеяться, – базар, в особенности, когда в кармане ни копейки. Гляди на всевозможную, многоцветную фруктовую роскошь, ласкающую глаз, любуйся, а покупать не обязательно. Потому я побродил-пофланировал по базару на «8-м километре» и, двигаясь дальше, оказался в Парке Гейдара. Осенняя стынь холодила руки, лицо. Мамаши забавляя своих малышей на качелях. Молодая матрона, ведя за ручонку четырехлетнего малыша, спрашивала у него:

– Это от ами<sup>1</sup> нравится тебе?

Ами, выпятив пузо, самодовольно взирал на них. Явно смахивал на «работодателя», ибо рожа его с масляными глазками выдавала подонистое нутро. Физиономия не выказывала никакого интереса к малышу. Ребенок, стало быть, не имел к нему никакого отношения. Малыш непроизвольно-вынужденным кивком головы подтвердил свое расположение к чужому дяде, которого, может, видел впервые, и, вырвав ручонку из маминой руки, побежал к игрушечным машинкам, сновавшим по асфальтированной площадке. Молодая женщина приникла к мужчине. Мне показалось, что она его любовница.

---

<sup>1</sup> Ами – дядя по отцу; здесь – в нарицательном значении.

Из ресторана посередине парка доносилась песня Махсуна Гырмызыгюля, сочиненная им в честь матери. Внимая этой песне, я думал о тайне проклятия, о которой гадалка навещала моей половине. Что бы это могло быть? Что это значило? Ведь, насколько я знаю, мы никому не причиняли зла и от знающих нас слышали только добрые слова.

Взгляд мой зацепился за рекламный щит, с которого некая дама демонстрировала качество продукции «Парфюм де Франс», и мне вспомнилась Мила, она же Мелакет. Мне показалось, речь идет не о женщине, проклявшей моего деда, а о ней, Миле.

Впрочем, она не любила меня, чтобы наш разрыв вызвал в ней какие-то чувства ущемленности. И я не допустил по отношению к ней какие-то богопротивные действия, чтобы навлечь на себя ее проклятие. Все произошло в соответствии с требованиями эпохи и на добровольных началах. «Нет, любила...», – возразил чей-то виртуальный голос и растворился в улыбке рекламной дивы «Парфюм де Франс». Подойдя к щиту поближе, я всмотрелся в лицо рекламной дамы, и оно выглядело не таким уж гладким и свежим; возраст сказался в морщинах на шее и под глазами. Макияж был, конечно, прилежный, но выдавал грубоватую работу мужских пальцев. Лицо дамы говорило о чувственном, хотя и казалось несколько надменным.

Мила была моей, так сказать, пассией. Для таких, как я, пишущих людей, «главней всего погода в доме», как поется в песне. И Мила знала об этом. И, в отличие от нее, моя благоверная поклялась до конца дней быть со мной вместе. И я не мог ответить на такую верность изменой.

Я говорю не о физической верности, это дело преходящее и простительное. А вот верность душевную, духовную никто не прощает. Верная женщина – половина мужского счастья. Я хорошо усвоил эти уроки. А в те дни, когда я оказался между Милой и семьей, мне по ночам мерещился лабиринт, из которого нет выхода. Но моя спутница жизни знала, что я приверженец семейного покоя, при всех отклонениях и закидонах рано или поздно вернусь к ней. Потому терпела мои фокусы, как истинная

благочестивая мусульманка. И когда Мила исчезла с горизонта, вернее, променяла меня на другого, жизнь моя вошла в нормальную колею.

Прогулявшись, я решил вернуться в свою пустующую в общежитии «келью», и у входа в метро позвонил по мобильнику напрокат и сказал, что вечером домой не вернусь.

«Прокатчик» был столь же учтив, сколь нахален, и, воспользовавшись моим озабоченным состоянием, содрал двойную цену. Порой, когда на меня находило вдохновение или когда случалась размолвка в доме, я отправлялся в общежитие, некогда излюбленное пристанище наших сельских родичей, позднее снискавшее наше вечное проклятие. Хотя в этом общежитии прошла самая романтическая пора нашей жизни, мы толком не прочувствовали этой романтики. Вернее, то и дело наезжавшие из села гости, ежедневное таскание воды из подземного резервуара, постоянно отключавшийся свет не позволили нам вкусить этой романтики, и нам приходилось только имитировать ее или воображать по книгам и кинофильмам. Может, все обстояло бы не так скверно, но однажды мы обнаружили в резервуаре питьевой воды дохлую собаку, и ни о какой романтике уже не могло идти речи.

Мы с женой представляли себя вроде эльфов из андерсеновской сказки. Перепархивали с цветка на цветок, с ветки на ветку, спасаясь от злых языков, от дурного глаза, пытаясь скрыться в бутонах, почках; строили свою жизнь в крохотном гнездышке, выводили потомство, вдыхали молочный запах наших крошек, изводились, убирая за ними, сетовали на постоянную бессонницу, но одного их смеха, улыбки было достаточно, чтобы все наше брюзжание истаяло, как утренний туман.

А позднее эта романтика сошла на нет, суровая реальность вспугнула ее, изгнала прочь, и наша жизнь продолжалась в прозаических словопрениях и спорах, и мне приходилось периодически покидать дом, чтобы мы окончательно не осточертели друг другу. А было время, когда мы мечтали

жить под одной крышей, сочиняли песни и дифирамбы в честь еще не родившихся детей...

Тут, как на грех, зуб у меня разболелся. Соседний зуб у меня удалили еще в детстве, в райцентре. Оставшийся рядом зуб, почувствовав себя вольготно, разросся, раздался, а после начал гнить изнутри и доживал последние дни. Мне было даже жаль его. Ибо не так просто было расстаться с этим коренным крепышом, некогда раскалывавшим грецкий орех, вкусивший тысячу яств. Когда мне удаляли соседний зуб, родители, умасливая меня, обещали купить все, что я захочу. Но когда папаша мой с шиком выложил на стол врачу-зубодеру металлический целковый с отечканенной головой вождя мирового пролетариата, я все понял. Если из кармана отца вышел «железный» рубль, значит, других денег нет, иначе бы расплатился бумажными и не ставил бы себя в неловкое положение, потому что я и сам смотрел на металлический рубль, как на ломаный грош или как на захудалого чабана Мамиша, ежеутренне отправлявшегося на выгон. Так что игрушечный самосвал, который я облюбовал еще до выдернутого зуба, остался несбыточной мечтой. И по этой причине я начал ревмя реветь, и белый свет был не мил, и даже солнце, раскинувшее роскошные лучи по склонам гор, теперь, казалось, ехидно усмехалось.

Я плакал не столько из-за ноющей боли на месте выдернутого зуба, сколько из-за обманутых надежд. Отец, видя, что я никак не успокоюсь, еще и наподдал мне по мягкому месту, и я разревелся еще истошнее. Убедившись, что плач мой услышал весь мир, то есть вся округа, включая колхозные угодья и железнодорожный вокзал, я поутих и, уже всхлипывая, проделал почти двадцатикилометровый путь в «пазике» местного шоферюги Рашида. Боясь встретить злой, красный от раздражения взгляд отца, я торкнулся головой под черную мамину шаль и, в сердцах ругая отца и свою ребячью судьбу, о которой не имел понятия, задремал. Впоследствии я уразумел, что мой детский всхлип и был прекраснейшей песней судьбы.

Проходя замусоренными лестничными маршами и пропахшими жженой пластмассой коридорами общежития, я благодарствовал тому, что мы выбрались отсюда. Дверь отпер с трудом и переступил порог под скрежет петель. Комната пропахла плесенью, сыростью и пылью. Мелькнуло в голове мрачное сравнение: «Склеп...».

Да, подумалось, как ужасно быть одиноким покойником в гробнице... Стены, углы – в плесени; в сетях паутины повисли дохлые мухи. Паук сейчас созерцал вошедшего человека. Свет, падавший в окно, был ему нипочем. Полоски света выхватывали пыльную взвесь. Паук, наверно, был недоволен незванным гостем, стеснившим его обиталище и нарушившим, быть может, мелодию смерти, начавшуюся с голодом. Я некоторое время наблюдал за ним. Не выдержав моего взгляда, паук взбежал на другой край паутины и уставился на меня выпученными глазами.

Он был похож чем-то на Мазана, когда-то ошельмовавшего меня ни за что ни про что; возвел на меня напраслину, всякую брехню насчет моих отношений с соседской девушкой, которые не только я бы не позволил себе, но вообще не подобает моему возрасту, если хотите, статусу. Дошло до того, что я не мог участвовать даже в предсвадебных приготовлениях брата той самой девушки, потому что стеснялся даже показаться на людях. Это самое двуногое существо по имени Мазан, при виде меня нахальным образом выпучив зенки, нес всякую ахиною, катил бочку на меня, и мне волей-неволей приходилось избегать встречи, в то время как ребята купались в Араксе, ловили стрекоз, гоняли мяч.

...Мы сидели с ней в ложбине у реки. Солнце пекло, и мы подались в тень под тамариском.

– Ты вышла бы за меня замуж? – спросил я, щурясь не от солнца, а от смущающей меня самой щекотливости вопроса.

Меня подбил Алиш, и сморозил ей про то, о чем не имел понятия. Просто захотелось повыпендриваться и казаться взрослым. Она же, потупив глаза и ковыряя землю, обиженно выдавила из себя:

– Я матери скажу... – и всхлипнула.

По правде, я не понял ее, а когда дошло, было уже поздно, и ее мамаша, явившаяся к нам, примостившись на камень у очага, где моя бабушка пекла хлеб-лаваш на садже<sup>1</sup>, что-то стала долдонить ей, при этом не забывая бесцеремонно уминать свежееиспеченный горячий лаваш, заправленный маслом и соленым шором, а масло таяло и сочилось сквозь ее замызганные пальцы на землю под ноги, на комочки овечьего помета... «Аллах накажет ее!» – подумалось мне с моим маленьким сердчишком и квелым умишком, и, представьте себе, мое негласное проклятие впоследствии сбылось, и эта соседская девчонка так и засиделась в девках, никогда не вышла замуж, даже внебрачным отпрыском не разжилась, хотя охотничков подсобить ей нашлось бы довольно. Моя бесстыжая детская любовь дорого обошлась мне, и отец меня отхлестал сперва ремнем, но, не остудив гнева, наподдал еще рукоятью дахре-топорика. Мать еле вырвала меня из его рук, но и я не мог утихомириться, выместил злость на наших оконных стеклах, поразбив их, хотя отец мой купил их, продав большущего барана.

Полицезрев «домашнего мухомора», я начал рыться в своем, так сказать, архиве. Архивы – вроде кладбища, они приобретают смысл только при их посещении. Хотя соображение не ахти какое, но в тот момент так подумалось.

Сперва просмотрел неотправленные письма Миле. У меня вошло в привычку: писать послания понравившимся дамам, но оставлять их при себе. Я получал удовольствие, поверяя свои амурные эмоции бумаге и предвкушая досаду и раздражение их объекта. Начать игру с женщиной, но не доводить ее до конца, – все равно, что обуздать лошадь, но не ездить на ней или уступить иному седоку. Если пойти еще дальше – это как имитация полового акта перед возможной партнершей, что может вызвать только мстительное чувство.

---

<sup>1</sup> Садж – вогнутый металлический диск, на котором пекут хлеб из тонко раскатанного теста.

Я перечитывал свои лирические излияния. В них я признавался, что люблю ее. Было неведомо, любила ли она меня. И теперь я бы не мог это доказать. Мне захотелось увидеть ее. Но это желание быстро улетучилось, оставив после себя пустоту. И эта пустота могла бы поглотить любой голос и любое чувство: Милу давно уже отняла у нас сырая земля. А до того сердцем ее успел завладеть чернявый ухажер с «Мерседесом». Я сдался, не вступая в бой...

После переезда из села бабушка моя временно приютилась здесь, не желая стеснять нас, любимых внуков, и не вынеся недовольных взглядов моей жены. Память о ней – железный сундук, который она некогда прятала от нас и впоследствии подарила нам, теперь томился в углу желто-розового шифоньера. Я открыл сундук в надежде найти нечто, связанное с дедом. Ларец запылел, поблекли краски нарисованных на нем цветов. Поднимая тяжелую крышку, я вспомнил голливудские фильмы о таинственных кладах в Африке, невольно проникшись предчувствием какого-то чуда, и почти уверовал в то, что здесь сокрыт некий клад.

В сундуке оказались бабушкина косынка в черный горошек, многослойная траченная молью юбка, крошечный Коран и аккуратно завернутый узелок. В узелке я обнаружил серебряное монисто с отпавшими монетами, шапочку, выцветшую свадебную фату и пучок волос... Когда бабушка умерла, кто-то из женщин, может, в порыве отчаяния забылась и вместо своих волос вырвала клоч у покойницы... Впрочем, возможно, таков был обычай у наших земляков, я этого не знал. Взяв Коран с поблекшей розовой обложкой, под ним я увидел залежавшееся кожаное портмоне. Прежде оно принадлежало отцу, впоследствии бабушка использовала его как табачный кисет. Портмоне источало запах махорки. Я вспомнил бабушкины заскорузлые сухие руки, достававшие махорку из портмоне, вспомнил изборожденное морщинами лицо и желтые от дыма самокрутки губы. Так и пробыл на корточках некоторое время, вспомнил предсказание нашей

городской «Кассандры» – мол, все таинство заключается в этом кожаном портмоне, то есть ключ к избавлению от проклятия находится в нем...

Провел ладонью по шершавой, сморщенной коже, чем-то напоминавшей бабушкины руки, задубевшие и исцарапанные от постоянной возни с хворостом, дровами и собиранием кизяка. Вспомнилось, как я, ухватившись за подол ее черной длинной юбки, отправлялся в колхозные угодья – собирать кизяк. Бывало, подустанет, примостится на бревнышке, свернет самокрутку, задымит, уставившись на погранполосу, а мы, ребятня, собирали под кустами тамариска щавель, уплетали, бывало, с затаенной и неизъяснимой тоской провожали взглядом стаю журавлей, курлычущих над головой...

– Они улетают туда, куда ходил твой дед, – в голосе бабушки сквозила печаль.

Незадолго до заката, перед возвращением стад с пастьбы поторапливался домой. Потому что наша корова Сарыджа<sup>1</sup> никого не подпускала доить, кроме моей бабушки. Пока бабушка подойдет, я поглаживаю корову по спине, ногтями скребу по шерстке; бабушка тем временем ее ласково уговаривает, улещает.

При воспоминании обо всем этом удивительные чувства пробуждались в душе; мне так хотелось вернуться в те давние деньки. Вдруг мне почудилось, что портмоне смотрит на меня бабушкиными глазами, и энергия, исходящая от кожи, согревала мою руку. Показалось, что эта кожа – от шкурки марала-оленя. Может, оттого, что я вспомнил Милу, и ее имя было созвучно со словом «марал»...

Если бы марал заговорил...

«Не помню возраста своего. На памяти моей – только просторные степи, луга и лесные чащобы. Гулял по свету белому, жил-поживал сам по себе. Первая боль – об корягу поцарапался. Тогда и почувствовал: я – живой, и мир вокруг радовал меня, и я радовался, что живу в нем.

---

<sup>1</sup> Приблизительный русский аналог: «Золотена».



Я пел гимны Солнцу и Луне. Был беспечен. И крови своей не видел, и запаха ее не слышал. Жизнь для меня была – зеленые луга, леса, студёные родники и горы в шапке снеговой.

Я бежал и слышал биение сердца своего и звонкое напряжение мышц. Иногда меня укутывали, берегли от мороза. Бывало, запрягали. Я и вез. А люди пели, глядя на бескрайнюю степь. Гикали, смеялись, ликовали, и я бежал резвее, хотя постромки, ремни натирали до боли. Но по весне я вновь чувствовал прилив сил. Птицы садились на меня и пели свои птичьи гимны и, не стесняясь, могли и пометом «наградить». Мои ровесники исчезали один за другим, их места занимал молодняк. А я предчувствовал участь маралов, которых хозяин уводил туда, откуда нет возврата.

Однажды я почувствовал на шее холодное прикосновение ножа, внезапно причинившего мне дикую боль, и в ноздри ударил горячий запах крови, моей крови. Я вытаращил глаза, обезумев от страха и боли, потом все померкло, я стал цепенеть и ежиться. Потом тушу мою посолили, вынули потроха, вытащили душу из тела, оторвали плоть и унесли куда-то... Долгое время пролежал по соседству со шкурами других маралов. И они, шкуры, поведали мне о судьбах моих сородичей, так похожих на мою. Оказывается, мы ходили-обхаживали те же места, пили из одних и тех же родников и стали жертвами одних и тех же людей. И кровь у нас одинаковая по цвету, по запаху, по вкусу – привкус меди у нее.

Однажды взяли меня, вернее то, что от меня осталось, и сшили сапоги, красивые такие, ничего не скажешь. А уколос шила я, конечно, не чувствовал. И где только я ни побывал, уже перевоплотившись в обувь... Я даже гордился тем, что носят меня солдатские ноги, а не хранят в хлеву, чтобы топтаться в навозе. Но однажды солдата, который обувался в меня и держал в порядке, смертельно ранило. Вражеский воин, сразивший его, снял с его ног меня, то есть сапоги, и обулся.

Теперь я был на ногах лихого Махмуд-бека, повергавшего в трепет округу. Но сапоги Махмуд-бека впоследствии пошли в переделку-

перекройку и превратились в портмоне... Но этой метаморфозе сопутствовали таинственные обстоятельства, и о них никто, кроме меня, не знал...

...Отец мой рассказывал, что в годы войны с Германией русские пограничники отвели на заставу в Махмудлу. Там – камера, огороженная железными решетками. Некий поджарый офицер-пленный расхаживал взад-вперед. Смотрит тучей. Сказали: «Если хочешь увидеть отца, всмотрись хорошенько». Офицер был в брюках-галифе, кителе мышинового цвета, на ногах – надраенные до блеска черные кожаные сапоги. Такие же, как у моего деда. Как-то сложилась судьба у этого пленного офицера? Я наивно полагал, что сходство в экипировке (сапоги из оленьей кожи) предопределяет сходство судеб. Возможно, того офицера пустили в расход... И он, полковник Ауробиндо, когда его приставили к стенке, думал о самых прекрасных мгновениях жизни...

Как знать, не сражался ли тот немецкий гауптман в тех же краях, где воевал мой дядя?.. Не его ли пуля оборвала жизнь моего дяди?.. Кожаные сапоги оказались у Махмуд-бека.

Я начинал видеть его сквозь морок времени.

В незапамятную старину, говорят, победители-воины съедали сердце поверженного врага, чтобы, так сказать, набраться свежих сил. А мой дед снял сапоги своего изничтоженного врага, и, может быть, у него сперва возникло желание затоптать их своими. Но несуразно и нелепо, что исправные трофейные сапоги завалились в углу жилья, и, в конце концов, им не нашлось лучшего применения, как превратиться в мошну... Чтобы разобраться в логике этой метаморфозы, надлежало выстроить в памяти «партию».

## Далекой весной у Аракса...

Мы спрятались под кроватью. Все мысли-помыслы взрослых были о готовке. Всем доставляло удовольствие думать об отрадных хлопотах. Может, особенно и не думали-гадали, а просто, поддавшись инерции чувств, жили ожиданием, теплым, приподнятым и постоянным, как взошедшее солнце.

Женщины возились там и сям, жарили лук, чистили картошку, варганили салат, и, как можно было догадаться по аппетитному запаху, в казане варилась свежая ягнятина. Вкусный запах дразнил и манил нас настолько, будто и не мы недавно голосили слезно, надрывали глотки, протестуя против закалывания ягненка, вроде то были другие ребята, из другого села, и, поплакав, повсхлипывая после убиения белолобого, с кудрявой черной шерстью ягненка, утихомирились, и мясник Али умыл заляпаные кровью руки речной водой у Аракса. Аракс, когда-то при расчленении нашего отечества взявший на себя роль границы, теперь вынужден был взять на себя и этот грех людей... Река, которую величали в старинной песне «Хан-Аразом», теперь, должно быть, не чувствовала себя таким уж ханом, скорее «нукером».

Так вот, мы забрались под кровать, чтоб не путаться под ногами взрослых.

Как цветы с только что раскрывшимися бутонами радуются солнцу, так и мы тихо тешились и забавлялись своим уединением, не издавая ни звука, источая младенческое благоухание и ощущая надежную неприкосновенность.

К родителям маленькой Севиль пожаловал в гости ее дед Мелик. И по этому случаю зарезали ягненка, за которым мы бегали, с которым игрались, забавлялись, сами купали его, заталкивая в запруду. У меня дедушки не было. Будь у меня дед, наверняка, он не дал бы зарезать ягненка. Это я

уяснил точно, но никто об этом не знал, и я, оплакав ягненка, теперь позабыл о случившемся, казавшемся кошмарным сном.

По словам Мелик-баба<sup>1</sup>, мой дед был осанистый, статный и внешностью походил на светловолосых немецких офицеров, садясь на коня, обходился без стремя. Лошадь у него имела кличку «Мерджан», то есть «Коралл». Я пошел в деда. День-деньской носился, скакал на камышовой «лошадке»...

Теперь я дожидался, когда закончится пиршество за столом. Знал: после застолья старый Мелик усядется под ивой реки, закурит кальян и заведет речь о моем дедушке.

Вдруг за столом воцарилась тишина – как по чьей-то команде. Из-под кровати я увидел сперва ноги матери Севиль, потом цветастый подол, вырез кофты, наконец, темное злое лицо в обрамлении взъерошенных волос; толстая рука ухватила меня за ногу и вытащила, нет, выволокла из-под кровати. Таким же образом она извлекла Севиль.

Так же из закутка вытаскивали ягненка, а он упирался, тарашась на собравшихся людей, на Мелик-баба, который держал нож в руке, косился на нас, мальцов, и жалобно-боязливо блеял. Севиль от жалости и отчаяния убивалась, а ягненок, почувствовав в ней заступницу, мечась в закутке, норовил податься поближе к ней и красным языком лизал ее ручонку, вцепившуюся в жердь... А мне было недосуг вмешиваться в эти дела; я мог только носиться, куролесить по соседнему двору, а в положенный час убираться восвояси...

Мать Севиль спустила с нее и с меня трусы, воззрилась, напоследок шлепнула меня по заднице: «Ты испорченный мальчик! Больше ноги твоей чтобы не было тут!»

Я-то ждал, что все закончится хорошим финалом. Вопрекл, конфуз, конечно, сиганул со двора, вышел на проселочную дорогу, вроде смущение

---

<sup>1</sup> Баба – дед.

улетучилось, и я припустил к дому, взбивая пыль. Оглянулся разок – пыль желтым облачком оседала за мной.

Мелик-баба́, наверное, занимали мысли об угощении, о мясе, которое варилось в казане. Как бы то ни было, дождусь, когда после угощения он направится к реке и усядется под ивой покурить кальян.

Ива плакучая склонилась над бегущей водой – кажется, выискивая что-то в струях или стремясь выловить плывущие по течению лесные орешки. Печальное дерево. Бесплодное, – не потому ли. Бабушка моя частенько подолгу засматривалась на Аракс, не на свое отражение, нет, она искала в быстротекущих водах образ деда... Я, бывало, выдернув пруттик из плетня, вымеривал расстояние от села до реки. Глядя на свое отражение в Араксе, испытывал невнятную тоску. Тема для живописца: босоногий сельский мальчишка в коротких штанишках у реки...

...Обрызгав лицо водой из арыка, я вошел к себе во двор. Яблок на земле полно. Люблю, когда цветут яблони. Вокруг цветов сплошь вьются осы, шмели, я их отгонял забавы ради. Я сорвал яблоко, стал уминать, и... плод оказался червивым. Червь во рту! Сплюнул. Бабушка говорит, что и червь сам по себе содержит витамины, причем гнездится в здоровых плодах. А мне противно. С Севилькиного двора доносился дразнящий, вкуснящий запах. У меня под ложечкой засосало. Кажется, и слюнки потекли. Я со зла поднял с земли червивое яблоко и запустил в сторону соседского окна. Не долетело. Ну ничего. Зато испугнул воробьев, облепивших тутовое дерево над очагом. Может, воробьи со страху «заправились» над их казаном.

Бабушка моя во дворе кипятит белье. С тех пор, как помню себя, я видел ее в черном.

Когда она, привязав меня, малютку, к себе на спину полосатой шалью, «выгуливала», то перехватывала свои длинные волосы косынкой, чтобы не охлестывали меня по лицу, доводя до слез. Я представляю себя тогдашнего на бабушкиной спине – лохматого капризного плаксу с торчащей из-под шали ножкой...

...Я подошел к ней, присел на лестницу-стремянку, приставленную к стене.

– Ножки твои от хождения во какие большие стали! – обронила. – Как у дедушки твоего.

Бабушка вроде бы гордилась тем, что у меня большие ноги. Позже я узнаю о Фрейде, о том, что, по европейскому разумению, мамы гордятся детородными атрибутами своих чад, как бы в подтверждение каких-то «эдиповых комплексов». Что касается ориентальных соображений на этот счет, то восточные люди объясняют такое восприятие атавистическим пиететом перед мужской силой и привычкой видеть опору в сильном поле.

– Не сегодня-завтра в школу пойдешь. До каких пор в коротких штанишках разгуливать будешь?.. Ну-ка, выйди, погляди, как там коровы наши на выгоне.

Я как личный бабушкин чабан, то есть издали осуществляю присмотр за животной, надзираю за домашней живностью. Кошки дворовые трясутся при виде меня и подобострастно мяукают.

Выгон – место, где застрелили дедушку. Это на юру, на крутом берегу Аракса. Бабушка обещала, что поведет меня туда. Встарь там и располагалось село, а теперь – пастбище. Меня всегда тянуло туда, пытался добраться, но верхотура пугала, с полпути сворачивал обратно. А бабушка все тянет время, откладывает.

– Расскажи о дедушке, – говорю. – А что, у него ноги и впрямь были здоровенные?

– Ну да, – отвечает, не поднимая головы и ворочая белье в баке.

Прохладный ленивый ветерок, просочившись сквозь листву яблони, треплет мою черную шевелюру, затем, поигравшись, снова возвращается в зеленое лоно и погружается в дрему. Я тоже дремотно позевываю, но любопытство берет верх.

– За что убили деда? – спрашиваю.

– Не убивали его! – сердито отзывается бабушка.

– Мелик-баба говорит: убили.

– Врет Мелик! Где ему знать... куда ему до дедушки твоего. Он только о своем брюхе печется. – Она помешивает белье. – Принеси-ка хворосту, подбрось под бак.

Я не отстаю:

– Нет, ты скажи, за что убили дедушку.

Она отмалчивается. Не дождавшись ответа, я притаскиваю хворост, подбрасываю в огонь, дым ест глаза. Снова спрашиваю, за что убили деда, лицо бабушки заволакивает пар, вьющийся над баком. Наконец, слышу:

– Я же сказала: не убивали его! ОН сам выбрал свою смерть. Со дня рождения! Разве его можно было убить! – На миг рука ее застывает. Она думает свою думу. Наверно, роется в потаенных глубинах памяти.

– Мелик-баба сказал, что дедушку убили, причем убила его советская власть.

– Не советская власть, а николаевская, – она говорит, понизив голос. – Ты говори потише.

– Какая мне разница! Я хочу знать: за что? Дедушка мне снился: высокий такой, в черных сапогах.

– Должно быть, от меня наслышался. Когда я тебя, младенца, укладывала спать, всегда о дедушке твоём сказывала: «В сапогах скрипучих Мамед, в причиндалах лучших Мамед, о плечах могучих Мамед...»

...Умолкает, устремив взор на ворота. Верно, из предосторожности: как бы вдруг не вошел мой отец. При моем отце она никогда не упоминает о его отце. Пар из бака взвился высоко-высоко, истаял. Бабушка с улыбкой смотрит на меня. Мне хочется спрыгнуть со стремянки и кинуться в ее объятия. И она чувствует это.

– Детка моя, дедовская кровинка. Подрастешь – все узнаешь, все поймешь. В школу пойдешь в черных брючках, в беленькой рубашечке, в сандалиях новеньких. Окончишь школу, принарядишься, приоденешься, в

Баку отправишься, выберешь себе подружку-невестушку... – Видя, что я смеюсь, продолжает: – Ты родился под счастливой звездой...

А меня больше всего занимает дед.

– Не расскажешь, – пойду к Мелик-баба. От него все узнаю.

– Да что он знает! – сердится бабушка. – Он понаслышке судит.

– За что убили дедушку?

Бабушка гневается:

– Сам он умер, сам!

– Ни с того ни с сего?

– Нет, не ни с того ни с сего! Никто не умирает беспричинно. Я же говорю, он сам выбрал свою смерть. Ты этого не поймешь. Мал еще.

– В этом году я пойду в школу. И ты обещала...

По сути бабушка давно уже рассказала о том, как убили дедушку, и я помнил эту печальную историю во всех деталях; наверно, потому, что бабушкины рассказы сопровождались поглаживанием меня по головке, чмоканием в щечки, приговариванием: «Вылитый дед...».

– Мелик-баба говорит, что советская власть довела его до гачагства<sup>1</sup>. – Я гну свое, чтобы подзавести ее и выудить новые подробности. Наверное, и она ищет предлога. И разговорить ее нужен такой, как я, «почемучка». Знаю, что вот-вот она заведется, пока просто кочевряжится. Я устраиваюсь на стремянке поудобнее.

– Ну что, верно говорит Мелик-баба?

– Нет! – отвечает она. – Дедушку убили казаки. Потому что дед подался в гачаги еще до установления новой власти. Подался из-за того, что убил человека, задевшего честь... – Задумывается. – Поднимись, погляди, как там наши буренки, перейму печали твои.

Тронутый этими словами, я живо карабкаюсь вверх по стремянке, выбираюсь на крышу. Там, где небо смыкается с землей, на плато виднеются

---

<sup>1</sup> Гачаг (букв.) – беглый; абрек; бунтарь.



крохотные фигуры коров. Смешавшись с остальной сельской животиной, пасутся.

Спускаюсь.

– Бабушка, а как вы с дедушкой впервые увиделись? Что он сделал?

– А что было делать ему? В конце концов взял и женился. – Смеется.

– И сорок дней-сорок ночей свадьбу справляли?

– Ну да, а как же... – Снова усмехается.

– Ну, расскажи, как это было?

– Была я молоденькой девчонкой. С подружками холодянку насобирали у реки и возвращаемся. Вдруг парень на гнедом коне вырос перед нами, дорогу перегородил и смотрит в упор на меня. Мне не по себе стало, чуть было не вскрикнула. А девушки хихикают. Парень в русском кителе – с первой мировой войны остался, на ногах хромовые сапоги...

Призадумался. Я стараюсь представить молодого деда. Вижу себя на его месте... А вместо бабушки воображаю Севиль...

Так вот, с холодянкой, собранной у реки, идем домой... И такая встреча... Пришла домой, своей бабушке рассказала. Она обомлела: «Да ты знаешь, кто он такой? Стольких людей поубивал на войне! Он от своего не отступится. Так что, готовься, милая...». Так говорит, будто мне завтра уже замуж выходить. Взялась волосы мне расчесывать, косы заплетать. Чужло сердце старое.

Через день к нам постучался его дядя по матери – Фархад. Тоже высоченный, крупный мужчина. Мой отец ему чуть ли не по пояс приходился. При виде свата так и скукожился. Ну, потом дали «добро» на мое обручение. Дед твой рассказывал, что в ночь того дня не смог сомкнуть глаз. Твой, говорит, облик перед глазами стоял. А стоило задремать, говорил, твои косы черными змеями меня душили. Ну, после меня выдали за твоего дедушку.

– Это что ж, так он любил тебя? – спросил я, с неподобающей возрасту бесцеремонностью вторгаясь в заповедную зону их отношений.

– Как знать... – пожимает плечами. – Пожалуй, коня своего любил больше.

– Коня? – изумился я.

Она кивает.

– Дед твой говорит, мужчина коня жалует, а жену бережет. Чтоб ни в чем не нуждалась...

Я задумался над ее словами. Потом мысли перескочили на другое.

– А потом... с отцом моим случилась беда?..

– Нет, сперва мы потеряли дядю твоего, Геюша. Он не вернулся с войны против Гитлера. Всегда твердил: «Не по душе мне эта власть, перейду на другую сторону». И – ни слуху ни духу. Ни о живом, ни о мертвом... Может, он и остался там, у немцев. Дед твой долго наводил справки, искал, никто не видел его. Один только Мамедали из Амирварлы вспомнил, что видел Геюша целым-невредимым незадолго до окончания войны. После не стало твоего отца... Он бедный, сызмала был ледащий, слабенький. Благо, ты в деда уродился...

– А все-таки, за что убили его?

– Он за гордость свою поплатился... Только что овдовевшую жену его – дяди Фархада – умыкнул сын Бехрам-бека. Твой дед решил расквитаться с посягнувшим на честь рода. Отправился к обидчику и порешил его... Кончилось тем, что правительственные солдаты убили деда. Они не решались даже к трупу его подойти. Боялись и мертвого. Даже ржание его гнедого коня повергало их в трепет... Да, а ты как думал! Дед твой был мужчина еще тот!.. Эх... много всяких вещей было...

Но бабушка не рассказала мне о «многих вещах». А то, что поведала, запало в память вместе с колыбельными песнями. Так и ушла из жизни – рассказывая о деде и устремив взор в сторону границы. Это была необычная история, это была доподлинная быль, легенда, полная любви, мужества и трагизма.

...И вот сейчас я, достигший возраста, до которого дожил дед, сижу перед бабушкиным сундуком, покуривая «West», размышляю о далеких днях, представляя образ деда, часто видевшегося в снах, оживляя в воображении историю, поведенную мне бабушкой. Мне мечталось подойти к Араксу, подняться на крутой берег и всмотреться в простор, хранящий память о днях минувших. Аракс сейчас был далеко, очень далеко, и протекал внутри границы, разделявшей берега. Чтобы увидеть реку, надлежало взойти на гребень серого увала. Но у меня не было возможности совершить такое восхождение.

Мне оставалось пропустить сквозь себя историю деда, вжиться в нее, попытаться понять, в чем заключается таинственное проклятие, тень которого витала надо мной.

Я родился в день смерти моего деда.

Могила его осталась там, где было прежнее селище. Впоследствии власти отвели эту землю под пшеничные посевы. Бабушку мою не пускали на могилу... А на новом кладбище покоился прах бабушкиных родителей, и, посещая их, она слезно причитала, думая о погибшем муже, но обращаясь к могилам отца и матери.

День смерти деда совпал и с днем, когда ей выдали свидетельство о реабилитации деда. Но никто из нашего рода не видел ни убийства деда, ни того, как его дядя Фархад-киши привез из Шуши бумагу о реабилитации.

В надежде разыскать эту бумажку я снова стал рыться в сундуке. Увы. Может, такой бумаги и вовсе не существовало.

Сейчас я мог видеть только дедушкины сапоги. И мой взгляд, поднимаясь вверх, очерчивал воображаемую фигуру... Завалившись в постель, я некоторое время прислушивался к рокоту спящих по улице машин и гулу ветра, дующего с моря.

И забылся сном.

## Ребята со старой махаллы, сломанный жетон и смерть белки

– Ребята с махаллы «Кисечилияр» тебя искали, – первые слова жены, встретившей меня утром у дверей.

– Меня? – удивился я.

– Зачем ты им понадобился? – в свою очередь удивилась она.

Я пожал плечами.

– Ну... смог найти что-нибудь?

– Да, – я извлек из кармана кiset.

– Бабушкин кiset?

– Сперва папино портмоне.

Она подтвердила кивком.

– Спросят меня – скажи, что со вчерашнего дня отсутствую. Как закончу работу, вернусь.

И, не входя в квартиру, повернул назад.

– Какая работа?

– Ну, в общем, работа...

– Хоть бы чаю выпил.

Я не ответил.

– Когда вернешься?

И этот вопрос остался без ответа.

Я спустился по лестнице.

– Будешь идти домой, купи детям фруктов! – донеслось с третьего этажа вдогонку.

Соседские кошки при виде меня шарахнулись прочь. После гибели кролика они узнают нас по шагам.

Странно, думал я, зачем я нужен ребятам с махаллы? В последних публикациях своих я о них ни словом не обмолвился. Самое последнее выступление в печати – разговор с виднейшими психиатрами о причинах

потери памяти и путях ее восстановления. Выяснилось, что большинство их пациентов не желают восстановления памяти, тогда как это возможно.

Между прочим, оказалось, что я с помощью виртуозных фокусов мог «войти» в память моего деда, но это был бы некий искусственный путь. Я считал, что это вживание в память надо попытаться осуществить индивидуальным усилием. Чужая энергия, внушенная извне, могла направить меня по ложному руслу, внести в сокровенную ауру инородный «вирус».

Вживание в память ... может, проходит не через вещный, осязаемый мир, не через реликвии, старый сундук или запах полыни...— подумалось мне. Но тут я вспомнил ветхую хибару – дедовский кров, ребят со старой махаллы «Кисечиляр», возле которой выросли новые приглядные, опрятные дома. Почему они не сносят эту развалюху, никому не нужную, пристанище бродячих собак, кошек, летучих мышей, над которым галдит воронье?

Может, там хранится некая ценная вещь, реликвия?

В детские годы я только один разок забрался туда. Из любопытства.

\* \* \*

Был солнечный день. Мы только что вернулись с купания в Араксе, и, как водится, нам надлежало завалиться на боковую – либо на ковре, расстеленном под тутовым деревом во дворе, либо же на древней тахте, на которой некогда грел свои старые кости мой дед по матери. Соваться во внутренние покои нам, малышне, было заказано, – там отдыхал наш вспыльчивый отец, и поскрипывание кроваток нам могло бы дорого обойтись.

Наш серый пес под алычовым деревом все время дергался, подпрыгивал, лаял неизвестно зачем.

Мать – мне:

– Иди, утихомирь его. Отца разбудит – беда.

Я взял тазик с похлебкой из отрубей и поставил перед собакой. Но она не унималась, знай себе лает, устремив морду в сторону старой махаллы. Предчувствуя неизбежный скандал, я отошел и уставился на глинобитную мазанку в старом квартале. Эта халупа, залитая солнцем, поскрипывала; я смотрел на дощатую дверь без замка (в сельских домах у нас обходятся без замков); кровля, сплетенная из осота, справа завалилась. Бывало, забравшись на нее, я доставал груши с веток, свесившихся в сторону нашего двора. Когда грушевое дерево засохло, мазанка потеряла для меня всякий интерес.

Я огляделся. Убедившись, что никто меня не видит, перелез через изгородь, на цыпочках подкрался к допотопной хибаре и осторожно приоткрыл дверь. Скрип заставил меня вздрогнуть и замереть. Выждав, снова дернул скобу, снова – скрип, но не такой громкий. Вошел. Тьма-тьмущая. Только луч света, сочившийся сквозь провал в кровле, чуть-чуть обозначал внутреннее пространство. Когда глаза привыкли к темноте, я рассмотрел старую тахту. По словам моей бабушки, на тахте испустил дух Алы, когда-то убивший свою длиннокошую красавицу-сестру. У меня мурашки по коже пробежали. Но любопытство влекло меня, как магнит. На окне, в изголовье тахты, я увидел подвешенные черепа – и человечьи, и разных животных, а в нише – черное чучело вороны...

Вдруг мне почудился близкий шорох. Обернулся. Под потолком – сноп лучей, будто пляшущих. «Бисмиллах!» – прошептал я, зажмурившись. (Это слово произносила бабушка, когда я пугался чего-нибудь). Снова открыл глаза; лучи, вломившись, потекли вниз, проникли под тахту.

Страх обуял меня. Я рванул оттуда прочь, прибежал домой, рассказал старшему брату о своей вылазке. А тот – отцу. Это доносительство брата стоило мне крепкой затрещины. И впредь я не совался в старую мазанку. Отец сказал: «Те, кто входит в нее, теряют рассудок и уже никого не узнают».

Ребята с махаллы «Кисечиляр» были из пришлых. Говорили, что они – армянских кровей. Еще шли разговоры, что люди-«кисечи», на ночь ложась

спать, вешают крест на шею, а утром – снимают. И ставят кровлю своих домов крестообразно. И хоронят покойников на иной лад. Наши с ними не роднились – ни девушек за них не выдавали, ни ихних в невесты не брали.

Появление «кисечи» у нас в селе имеет свою историю. Их предка по имени Амир обнаружили в Горисском ущелье, когда гачаги, отбившие угнанный армянами скот, возвращались назад. Младенец лежал возле алачика<sup>1</sup>, завернутый в овчину. Был несмышленишкой, еще и говорить не умел. К тому же невзрачный донельзя. Дали найденыша под призор бездетной Зарош. Нарекли Амиром – по имени нашедшего его гачага. Маленький Амир через год заболел оспой, еще больше обезобразившей его лицо. Подрос, покреп, устроился подмастерьем у кожевника Гамзали. Занимался тем, что козью кожу обрабатывал. Поднаторел. Да так, что и мастера переплюнул, – у того чарыхи<sup>2</sup>, папахи в скором времени изнашивались, а изделия Амира оказывались куда добротнее и долговечнее, и никто-таки не узнал, в чем тут профессиональный секрет.

Была у Гамзали неказистая дочь. Амир женился на ней и, сжив своего тестя со свету, прибрал к рукам его хозяйство. У Амира, ежевечерне по возвращении домой источавшего вонючий запах, и характер постепенно свинел. Проходя мимо его двора, сельчане зажимали носы. Смрад распространялся на всю округу, и, соответственно расширялось, прирастало подворье.

Амир слыл мастером первой руки. От Гориса до Гараязы все устремлялись сюда, чтобы приобрести кожаные изделия. Особой интерес к коже у него, верно, возник с младенчества. Когда он родился, бабка его запеленала в овчину. Запах кожи въелся в его память. Еще одна привычка, поражавшая всех, – то, что он сдирал кожу с животного живьем; по его рябому лицу, выпученным глазам, пене у рта можно было понять, какое удовлетворение доставляет ему это живодерство. В этих шкурах оставался

---

<sup>1</sup> Алачик – кибитка с остовом из жердин, обшитых войлоком и шкурами.

<sup>2</sup> Чарых – обувь из сыромятной кожи.

отпечаток боли, пережитой животными, и этот отпечаток источал особую энергию, которая нравилась алчным, жадным потребителям. Так, во всяком случае, утверждал сам Амир в пьяном откровении, когда поддавал в духане Плешивого Ягуба.

Разжившись на кожевенном деле, Амир ссужал деньги под рост и, таким образом, держал всех сельчан «на крючке». Когда его бабушка, вернее, приемная бабка, умерла, он никого не подпустил к ней, сам совершил омовение покойницы... с него и пошла молва об изящных, красивых портмоне. Даже много лет спустя, когда уже и кости Амира истлели, проезжавший через станцию Махмудлу тогдашний «хозяин» республики Мир-Джафар Багиров поинтересовался денежными кисетами, которыми славилась махалла «Кисечиляр». Никто не может распознать тайну и магию этих кожаных изделий. Но есть кое-какие легенды. Об этом я расскажу позже, когда пойдет речь о том, за что внук Амира – Алы убил свою сестру Бадамнису.

А пока хочу завести разговор о черных воронах.

\* \* \*

Вороны, заполонившие дорогу к станции метро, напомнили мне фильмы Хичкока.

Одна из них шагала вразвалку передо мной, выискивая поживу на тротуаре, изредка озираясь на меня. Чем-то она напоминала старуху Зивер с квартала «Кисечиляр», – ту, что продала сапоги моего деда моему же отцу.

И в памяти всплыло давнее происшествие, когда мне было лет десять-одиннадцать. Я с отцом стоял у Аракса. Мать велела принести ведро воды. Моросило. Старая Зивер шла по грунтовой дороге, согнувшись. Я спустился к реке. Отец мне делал какие-то знаки, но я ничего не понял и, нагнувшись, чтоб зачерпнуть воду, каким-то образом умудрился поскользнуться и бултыхнулся вниз головой в реку. Ледяная вода, осень, ноги оцепенели,



барахтаюсь вниз-вверх, вода кажется желтой, а Зивер-арвад, тащившаяся по дороге, показалась черной вороной, летящей в пасмурных тучах.

Точь-в-точь, как те вороны, что поднимали грай в саду Мамедали. Одну из этих ворон мой одноклассник Фарзалы казнил лютой смертью, выколол глаза, отрезал крылья и предал огню: ему казалось, что эта несчастная вещунья похитила их цыплят... Чтобы торжественно обставить казнь, он еще привел соседа Газанфара. А впоследствии этот Фарзалы вместе с отцом, возвращаясь ночью от гостей, угодил в аварию и погиб. А перед смертью отец и сын подползли друг к другу и обнялись... Это было самое трагическое событие, услышанное мной. Люди говорили, что их настигло воронье проклятие...

...Надпись «М+С. Я люблю тебя» на асфальтированной мостовой отвлекла мое внимание от вороны. Надпись повторялась на окрестных предметах: на бетонных столбах, стволах деревьев, заборах, на разных языках: «Ай лав ю», «Я тебя люблю»... Я шел и гадал, как зовут парня и девушку, почему-то остановился на варианте «Саялы» и «Махмуд». Это лирическое признание было начертано и на стене крайнего здания, и дальше рефренов не наблюдалось. Вероятно, объект любви жил здесь. В иное время мне бы, может, стало смешно при виде наивных излияний неведомого «Меджнуна». Но сейчас мне было одиноко и тоскливо, и, читая эти незамысловатые изъяснения, я ощущал наплыв теплых чувств, и невольно вспоминались далекие школьные дни, когда запечатлевали имена своих юных Дульциней на железнодорожных шпалах, на стволах деревьев и даже на вокзальных скамейках. А те, которые не сподобились амурных переживаний, увековечивали на вышперечисленных «скрижалях» имена своих дедушек и бабушек, любимых собак, кошек и прочих домашних тварей и тем самым атавистически следовали привычкам пращуров, некогда запечатлевших письма на валунах и скалах. В отличие от большинства сверстников, я не проявлял интереса к одноклассницам, потому что в самом сопливом возрасте втюрился в одну девчушку и, пытаясь начертать ее имя на

макушке дерева, свалился и шмякнулся, да так, что с тех пор возненавидел всякую лирическую блажь. Видимо, это было связано со слабым развитием моих гормонов и сексуальных импульсов. Возможно, еще одной причиной были мой эгоизм и себялюбие. Потому я предпочитал «тиражировать» не чьи-то, а свое собственное имя. А на амурные страдания своих одноклассников смотрел с иронической ухмылкой, хотя и мог с ними за компанию участвовать в «смотринах», когда мы часами ждали появления на улице известного «объекта». Для нас время не имело значения. Не время подгоняло нас, а мы торопили время и транжирили его почему зря, потому что там нам было интересно.

...Когда я подходил к станции метро, то обнаружил, что жетон в моем кармане обломился надвое. Подошел к кассе: «Можете это заменить?» «Обратитесь к заведующей...».

Ответ кассирши сперва «завел» меня, а потом рассмешил. Из-за такого пустяка идти к заведующему? Да еще, чего доброго, заявление писать? Трагикомедия!

У сквера возле станции метро «Сахил» внимание мое привлекли ребяташки, направлявшиеся в школу. Я вспомнил себя, первоклашку. Старший брат, взяв меня за руку, привел к обшарпанному зданию с пожелтевшими, не без воздействия моих несознательных «пи-пи», стенами.

У выхода из метро стоял мальчонок с букетом нарциссов. И я перенесся на сельское горное приволье, когда мы на исходе весны собирали маки, волушки, фиалки, бальзамин, нарциссы... и вязали букеты. Я до сих пор помню последнее апрельское солнце, душистый запах ласкового утреннего ветерка. Мне показалось, что мальчик с нарциссами у станции метро продает их, чтобы накопить денег на «маевку», как и я когда-то в школьные времена. Вспомнил, как на Первомай спозаранку я пошел на станцию Махмудлу продавать зелень, редиску, как дома всю выручку у меня забрали родители, и я, обиженный, покинул дом и весь день бродил в колхозных садах; с голоду меня вырвало, и я занедужил... Вечером того же

дня у меня, слегшего, над головой плачущий голос матери: «Рази меня гром, не надо бы нам эти гроши отнимать у ребенка...». И почерневшее лицо угрюмого отца, с тлеющей сигаретой в руке... Я почувствовал некое родственное сходство между собой и пацаном с нарциссами, топчущимся у станции метро и, повинувшись произвольному порыву, протянул ему тыщу манатов и купил пучок цветов. Я их не собирался нести домой; у жены аллергия на запах нарцисса. Потому, некоторое время поносив букет, я «забыл» его на скамейке.

...Первомай бы пиршеством цветов. У нас в селе мы, школьники, прикрепляли цветы к стенам с обвалившейся штукатуркой, из-под которой проступали «ребра»-доски.

Школьное помещение напоминало мне чем-то тощих телят с выпирающими ребрами или дохлых рыб, выброшенных на дорогу и обсаженных муравьями. Да, майская пестрядь цветов входила в нашу обшарпанную школу, но эта радужная радость улетучивалась при виде монотонной белизны стен нашего класса.

С первого же школьного дня я почувствовал, что расстаюсь с детской вольницей. Дело в том, что нашей учительницей была моя тетка-биби. Когда второго сентября (первое число совпало с воскресеньем) я обратился к ней по привычке – «биби», – она строго одернула меня: «Не биби, а муаллима<sup>1</sup>!» И я долгое время оказался «на ножах» с женой моего дяди по отцу, которая дома была для меня «биби», а в школе – «муаллима». Я никак мог смириться с тем, что моя тетка, которую на моих глазах лупцевал мой ами<sup>2</sup>, перевоплотилась в учительницу, да еще, случалось, могла огреть. Я попал в бюрократическую неувязку. В метриках я значился под одним именем, а в классный журнал записали под другим, тем, каким меня звали ребята. А имя в метриках напоминало название лекарства: потому бабушке моей пришлось не раз тащиться из села в райцентр, чтобы переделали метрики. Отец мой, не

---

<sup>1</sup> Биби – сестра отца. Муаллима – учительница.

<sup>2</sup> Ами – дядя по отцу.

придававший значения таким вещам, выражал свое отношение к бабушкиным хлопотам загадочной усмешкой. Наконец, бабушка добилась своего. Похожая история случилась при получении аттестата зрелости. В графе «Поведение» написали: «удовлетворительное». Это всполошило бабушку, она никак не могла поверить, что в поведении ее внука могут быть какие-то изъяны и он мог себе позволить непотребные выражения (в отличие от деда). И с девчонками шуры-муры не заводил (что было в глазах бабушки мерилом примерного поведения). А то, что баловался картинками, считала ребячеством. Ведь в городе, где мне предстояло грызть гранит науки, не было ни урочища Ярганын-алты, ни других укромных мест для таких шалостей.

В сквере у станции «Сахил», под большой сосной собралась толпа, горячо обсуждавшая какое-то происшествие. Поддавшись традиции, я присоединился к сообществу. Несколько мальчишек, вскарабкавшись на дерево, пытались поймать шаставшую по ветвям белку. Бельчонок свесился с веточки сосны, испуганно глаза на окружающих. У него была желто-розовая шкурка

А глазки напоминали кроличьи. Точь-в-точь, как у того кролика, которого мы нашли в окрестностях нашего села. Принесли в класс. Учитель литературы за эту шалость продержал нас до конца урока у доски с поднятыми вверх руками. И унес кролика к себе домой, пообещав, что сдаст в зоопарк. После злые языки пустили слух, что наш учитель использовал кролика на шашлык, и божились, что запах жареного слышали во всех соседских домах. Как бы то ни было, в «районном зоопарке» этого кроткого зверька не видели по той причине, что у нас в райцентре не то что зоопарк, даже и конюшни не было.

...Через пару дней, проходя по парку, я заметил под скамейкой тушку бельчонка с остекленевшими глазенками, и ветерок шевелил желтую шерстку. Когда я двинулся дальше, меня окликнул знакомый голос:

– О чем задумался, мечтатель?

Я поднял голову: мой родич, из наших сельчан, теперь служил связистом. Обычно по утрам прогуливался в парке с сослуживцами.

– Ах, извини... Так... ничего...

– Ты вроде чего-то ищешь.

– Да. Ищу... Свою память... – не совсем вразумительно отозвался я. Он как бы понимающе кивнул и попрощался: спешил на службу.

Я присел на скамейку и извлек из кармана старую реликвию: кожаное портмоне...

### **Запах памяти**

Раскрыл кармашек портмоне. Оно было сшито тоже кожаными нитями, истертыми и утончившимися. От кожи исходил странный запах. Пахло не деньгами и не табаком. Может, это был запах памяти... Я пошарил рукой внутри кармашка. Вдруг нащупал нечто узловатое. Вывернул портмоне наизнанку. Узел напоминал туго сведенные брови. От него исходило древнее, уютное тепло. Этот комочек кожи показался таинственным истоком, кодом памяти. Если бы кожа могла поведать о своих метаморфозах: – от живого существования на живом теле марала, потом – превращения в сапоги на ногах Махмуд-бека, затем – в обыкновенную мошну, портмоне...

Махмуд-бек стоял на гребне обрыва над Араксом в русском армейском кителе, галифе и думал свою думу.

– О чем? – задавался я вопросом, поглаживая старое портмоне.

– Ты сам должен доискаться, – донесся неведомый голос. Или почудился. Но я почувствовал теплое человеческое дыхание.

Какая-то древняя старуха сидела на скамейке, вся в черном – и шаль, и юбка, и кофта. Длинный крючковатый нос, запавшие глаза. Не та ли ясновидящая, о которой говорила моя жена? Чем-то она напоминала ворону. Взгляд ее отпугнул меня, и я невольно прибавил шаг. Обернулся. Она последовала за мной.

– От судьбы не уйдешь! – проверещала она. – Тебе уготовили «джаду»<sup>1</sup>.

– Я не верю в джаду, прочее...

– Но в судьбу-то веришь? – прищуренные глазенки испытующе уставились на меня.

Я остановился.

– Иди за мной... – И она, согнувшись, переваливаясь с боку на бок, как недавно увиденная ворона, двинулась по тротуару, возле старого «Чайного дома» свернула направо и пошла по улице Шамси Бадалбейли, время от времени оглядываясь, чтобы удостовериться, иду ли я следом или нет. Пока мы шли, я потерял ощущение конкретного времени и пространства, словно вторгся в некую темную неведомую пустоту. Майское солнце вдруг заволокло тучами, в воздухе похолодало; мы двигались старыми улочками строений с плоскими крышами, покрытыми киром, среди которых выросло амбициозное здание с полицейским постом, в котором сидел человек в штатском и позевывал, должно быть, не выспался.

Гадалки мне напоминали служительниц нечистой силы, потому я всегда сторонился и избегал их. А тут отступить было некуда и невмоготу. Некая сила влекла меня за собой. Это было похоже на наваждение, гипноз. Холодок прохватил меня. Вспомнил о наших сказочных колдуньях-«кюпя-гирян», и все чудилось мне видением, миражом.

Шли помалу или помногу, одолели путь-дорогу и пришли, как говорится, к предреченному порогу... И это был дом – копия, отражение допотопной хибары потомков рода «Кисечиляр», стоявший поодаль от советских коммуналок. Он напоминал «човустан»-кибитку, какие были в сельских наших краях. Из дымохода валил дым. Мы открыли дверь, вошли. Гадалка-старуха подошла к керосиновой лампе, зажгла ее и села на тахте.

Воздух затхлый, нежилой, пахнувший безлюдьем.

– Подойди, – сказала она. – Присядь.

---

<sup>1</sup> Джаду – ворожба; записанное заклятие.

Я огляделся. Стены увешаны гобеленом неопределенного цвета. Поверху – череп какого-то животного, с которого свешивались разноцветные нити.

Над крышей галдело и кружилось воронье.

Я сел на тюфячок перед старухой, подобрав ноги под себя.

Она взяла из ниши папиросу «Казбек», спички, из другого угла принесла пепельницу, трясущимися руками чиркнула спичкой, затянулась дымом раз-другой и воззрилась на меня. Черные заскорузлые руки, похожие на вяленые миноги, погуляли по моему лицу, расстегнули ворот рубашки, заползли мне на грудь и застыли над сердцем. Сердце мое учащенно заколотилось. Мне почудилось: она сдавливает мое сердце своими руками, процеживает мою кровь сквозь неведомую свою «лабораторию». Колотьба унялась. Она лукаво усмехнулась.

– Кровь у тебя изменилась, – выдержала многозначительную паузу. – Улеглась... И понимание твое изменилось...

– Надо мной чье-то проклятье? Как ты думаешь? Может, я сам того не ведая, кому-то причинил зло? Бабушка моя говорила, что в нашем роду такого не было... И дед мой никого не предавал... Правда, он убил человека, ославившего женщину... Отомстил...

– Какая месть? – усмехнулась старуха. – Твой дед забыл об одном. Забыл, что нельзя оставлять женщину бобылихой, если убил ее мужа. Положено взять ее в жены... Женщина вроде лошади. Ей уход и приход нужны... А твой дед нарушил обычай. Оставил ее на произвол судьбы. А судьба, сам знаешь...

– Выходит, она и прокляла моего деда?.. И это проклятие настигло и меня?

– Не все так просто, как ты думаешь...

– Тогда кто?

– Аллах ведает. Может, это люди близкие... любившие его... и тебя... Знаешь ли, любовь и ненависть – близнецы.

– Знаю... Но много вещей, которых не знаю, бабушка унесла с собой...

– Потому что так хотел твой дед. Он ей не рассказал всего. Бабушка твоя хоть и чувствовала недомолвки, но из деликатности не решилась допытываться. Тайну рода придется раскрыть потому самому младшему сыну в роду. И это – ты.

– Но есть и помладше меня!

– В том-то и дело! Ты должен исполнить это ради них!

– Но я не в силах... Для этого мне надобно... Влезть в его шкуру... войти в душу... в память...

– Ключ – у тебя... – Она вновь зажгла потухшую папиросу, выдохнула дым к закопченному потолку. – Ты должен научиться смотреть на все глазами своего деда... А ну-ка, покажи мне ту вещицу...

Я достал кисет-портмоне и передал ей. Она повертела его в руках, развязав тесемку, принялась. Сунула руку внутрь, пошарила, нащупала шершавинку, то есть узелок, помедлила, закрыв глаза.

– Вот оно! – улыбнулась. – Это ни о чем тебе не говорит?

– Хотел сказать, да ты помешала...

– Я?

– Мне показалось...

– Ты собери воедино все, что знаешь и слышал о деде, вдумайся, вообрази... и мало-помалу ты приблизишься к истине и добьешься своего. А теперь – ступай восвояси. И помни уговор: серьги твоей жены причитаются мне.

– Это мой свадебный подарок ей.

– Когда ты найдешь искомое, серьги вам не понадобятся. К тому же...

– Договаривай.

– К тому же серьги должны вернуться к истинной владелице!

У меня – мурашки по коже. Вроде как в комнату ворвался студеный вихрь.



Гадалка напоминала нашу сельскую бобылиху Зивер. А глаза – вороньи, цепкие, наметанные.

– Я – дочь Сальминаз, – вдруг разоткровенничалась старуха и нахально захихикала. – По сути, я твоя биби. Во всяком случае, могла быть таковой, – прохрипела-прохихикала она.

– Кто такая Сальминаз? – Я всмотрелся в ее черную невзрачную физиономию.

– Пойдешь верной дорогой – все узнаешь, – улыбнулась загадочно. – Не надо спешить.

Я терялся в догадках. Это имя мне ни о чем не говорило. Кажется, где-то я слышал его, пытался припомнить, но все всплывало и таяло, как мираж.

– Я же говорила: сперва восстанови, вообрази картину от начала до конца, а уж потом суди-ряди... Тогда и нащупаешь верный путь.

Она продолжала улыбаться. Я оставался на месте, как вкопанный. С неожиданной резвостью она встала, взяла меня за руки, подняла.

– Ну, ступай, – показала на закопченную дверь. – Тебя ждет много испытаний.

Я вышел. Было пасмурно. Собирался дождь.

### **Пегий конь**

Дойдя до нашего квартала, на свалке я увидел серо-пегого коня. Шерсть – цвета перепелиных яиц. Конь вызвал ассоциацию с мустангом из фильма «Всадник без головы». Он искал поживу, роясь в мусорном ящике и время от времени подобрав что-то, разжевывал.

Вспомнились чайки, искавшие поживу в бухте. Мне подумалось при виде этих птиц, что чайки надежнее, патриотичнее иных высоколобых существ, – они предпочитают рыться в отечественных свалках сытому существованию в чужих морях. Я даже написал статью на эту тему, но один из моих коллег «потерял» ее.

Конь, почувствовав внимание, застыл, вскинул голову и уставился на меня большими фиолетовыми глазами, будто хотел что-то сказать. Я подступил, погладил холку. Теплые мягкие губы коснулись моей руки, потом коняга принюхался, стал лизать мою пятерню. Вспомнилось мне айтматовское «Прощай, Гюльсары». Я был тронут этой лошадиной нежностью. Обнял большую голову. И тут заметил слезы в фиолетовых глазах.

На правой передней ноге был шрам, покрывшийся коростой. А копыта истерлись. Не подкованный был конь. Я слышал биение лошадиного сердца; глядя гриву, шрам, пытался понять, что творится в душе этого бессловесного одинокого существа. Слезы и пена изо рта увлажнили мою одежду.

И мне почудился голос:

– Я конь твоего деда... Махмуд-бека... А шрам – отметина от них... Это было давно... Я прошел долгий путь. Они меня продержали, как узника. Потом я сбежал. – Мне показалось, что конь горько усмехнулся. – Я первый учуял запах солдат. Они пахнут ремнем и потом. Они оцепили нас, когда племянник деда, Балаоглан, вел меня на водопой к Араксу. Дошли до края обрыва, я увидел их, заржал, взвился на дыбы. Балаоглан смекнул, что к чему, и снял с моей головы узду. Я помчался не к дому, а в противоположную сторону, чтобы увлечь солдатню за собой, подальше от твоего деда. Но он, услышав мое ржание, выскочил на порог и побежал ко мне. Но было поздно. Солдаты преградили ему путь. «Беги!» – закричал дедушка. Я понесся во весь опор... И услышал выстрелы вдогонку. Они целились в меня...

– Кто они?

– У них не было имени... Их было много... «Сволочи! – кричал им твой дед. – В коня мужчины не стреляют!..» Но они продолжали стрелять. Одна пуля угодила мне в правую переднюю ногу... Но я продолжал бежать. Пронесшись по краю обрыва, кинулся в сад Курбанали... Кусты исцарапали мне морду, искровянили ноги... Затаился в зарослях. Стемнело. Я перебрался

через пойму, перевалил через холм и стал ждать его в Аиси-дере. Не дождался...

– А что потом?

– Они нашли меня. Меня выдала кобыла... Потом запрягли меня, чтобы унижить. Потому что никто не смог оседлать и сесть на меня. Побаивались...

– А что с дедом случилось?

– Это не дано было мне знать...

Тут квартальная ребятня, завидев пегого коня, ринулась к нему.

– Лучше мне уйти...

И пегий рысцей пустился прочь.

Я почувствовал некое внутреннее успокоение: показалось, что я приблизился вплотную к реальной, живой памяти деда, безвозвратно канувшей в прошлое, истаявшей в прах. И ощутил ностальгию по этому прошлому.

### **Сундук, пахнувший полынью**

Ветер, врывавшийся сквозь разбитые окна общежития, резвился, куражился в коридоре, как циркач, гуляя по стенам, потолку, кувыркался на полу. Я открыл дверь, вошел в комнату и оставил ветер за порогом, но он, как бы досадую и злясь, стал скрести и царапать дверь, наконец, как обиженный кот, сиганул в окно. Кажется, я даже слышал, как он шмякнулся на асфальт, успев до этого шарахнуть по стеклам, разлетевшимся вдребезги.

Бабушкин сундук оставался все так же открытым. В комнате слышался слабый запах полыни. «Откуда здесь взялась полыни?» Мои ноздри, как компас, направили меня к сундуку. А в нем никаких-таких следов от полыни. Я взял оттуда старинную книжку Корана, стал перелистывать пожелтевшие страницы. И между ними в двух местах обнаружил иссохшие, приставшие к бумаге побеги полыни, седые, как иней. Взял за стебель, осторожно поднял

иначе истлевшее растение могло рассыпаться. Меня осенило: для бабушки полынь была воспоминанием о деде. Неспроста она говорила: «Сохранись его могила, заросла бы полынью». Может, потому она любила катыг из овечьего молока от тех овец, что паслись полынью. И ее племян, пастух Новруз, всегда, возвращаясь с гор в низину, приносил нам овечий катыг. Бабушка спрашивала: «То самое?» И Новруз гундосил с улыбкой: «То, тию». После переезда в город бабушка до конца дней тосковала по овечьему катыгу. В этом смысле она доводилась дальней родней Марселю Прусту.

Подумалось: где сорвала бабушка эти вот обветшавшие побеги полыни, хотя это, может, не имело никакого значения.

Но для полного воссоздания картины столетней давности любая мелочь, деталь могли обрести смысл.

Вероятно, бабушка сорвала пучок полыни на склоне увала, возле нового становья, или же на перевале, возвращаясь из села Джалал, где жила моя сестра; а может быть, на холме близ могилы моего отца или же внутри ограды, которой был обнесен последний приют. Скорее всего. Потому что могила отца моего обросла полынью, и бабушка, не ведающая о последнем приюте деда, довольствовалась этой утешительной символической реликвией.

Я вернул и полынь, и Коран на свое место.

Извлек из ящичка шкафа свою неопубликованную писанину. Из вороха бумаг выпало фото: мы снялись с ребятами на сборе хлопка, на околице села под одиноким тутовым деревом.

Фотография словно сама стремилась показаться мне и напомнить нечто. На черно-белом снимке ясно выделялось увядание листьев.

Посреди снимка – я в клетчатой рубашке, привезенной тетушкой мне из Нафталана и, помнится, пропахшей нафталаном, так как в нее тетушка завернула склянку с этой целебной мазью, чтобы не разлилась по дороге. Слева на снимке – мой двоюродный брат, погодок и одноклассник Шахмар, справа от меня стоят две его сестренки. Вдали женщины, собирающие

хлопок, среди которых и моя мать, но она запечатлелась со спины – черная шаль и белая в горошек косынка.

Встарь я подолгу поджидал ее возвращения с поля под одиноким тутовым деревом. Было мне тогда года четыре-пять. Колхозная няня Гаджиханум извелась, утирая слезы с наших поблекших от голода лиц, поглаживая опухшие животики, а то и с досады пошлепывала наши голые попки. И мне вспоминается, как однажды, чтобы успокоить свой занывший животик, кинулся не в необъятную пустошь, а в сторону нашего дома и, не добежав, вынужден был облегчиться на задворках жилья Соны-хала, и сейчас смешно это вспоминать.

Теперь мне не попасть к одинокому тутовому дереву – люди махаллы «Кисечиляр» продали этот участок, тем самым преградили и дорогу к «кюдрю»-подлеску под обрывом. В этот земельный спор вмешались не только наши сельские старики, но и аксакалы соседних сел, однако так и не смогли вразумить жителей «Кисечиляр». «Кисечилярские» теперь и в городе все прибрали к рукам, негде было пройти-прогуляться. Во всем этом коренилось нечто фатально-несправедливое, и для меня оставалось темным, откуда, когда, с чего начался такой беспорядок, произвол обитателей махаллы «Кисечиляр», и я вольно-невольно усматривал в этом некую связь с обстоятельствами жизни дедушки, что и было одной из причин их попыток «реанимации» минувшего.

Подойдя к окну, я занялся созерцанием моря. Пальцы мои ощущали шершавую выпуклость в кожаном кисете, и это было чем-то сродни прикосновению к кнопке пульта или компьютера.

Отсюда, с высоты девятого этажа, панорама пространства выглядела внушительной, таинственной и чуть пугающей. Ветер вздыбил морскую поверхность. Приморские фонари очертили длинный полукруг. Сейчас, наверно, влюбленные парочки, укрываясь от дождя, жмутся друг к дружке, как голубки. А уборщица общественного туалета в приморском крае очищает это заведение, кляня на чем свет стоит неаккуратных посетителей; в

подворотнях возле Дома правительства слонялись тощие бродячие псы. Вот бы, подумалось, взмыть птицей с этой высоты, полететь над парком, распластав крылья, парить в воздушном потоке... а пролети я над Домом правительства, то не преминул бы увлажнить его крышу...

Но это все блажь, бредни.

Я опустился на грешную землю. В голове был ералаш, всякий мусор. Потому я не мог нащупать верную нить в лабиринте сумбурных мыслей.

В прихожей валялся старый чемодан, в углу – запыленная вешалка, на которой висело старое пальто в серую полоску – реликт моих студенческих времен. Впоследствии я зацепился ногой за что-то, оказавшееся расплзшимся драным седлом. Порыв распахнул окно настежь. Заскрипела болтающаяся дверца старого шифоньера.

Я сгреб весь мусор в кучу и вывалил в окно.

Мысли прояснились.

Я почувствовал себя на гребне кручи, над обрывом, и почудилось, что внизу где-то течет Аракс, и я, обернувшись птицей, рею над рекой и вижу подробности ландшафта, некогда исхоженного моим дедом; и душа его парит и летит вместе со мной; и я чувствую где-то рядом его дыхание... и стук, и поскрипывание... Это было похоже на звук шагов, скрип сапог, снятых дедом с ног убитого вражьего воина, и эти сапоги, и русский армейский китель очень шли Махмуд-беку... потом донесся тихий голос бабушки, сказывающей о моем деде, и в ее голос вторгались плеск речной воды и шелест листьев одинокого тутового дерева... В сердце мое струился запах полыни, заполонивший пыльное помещение. И я погружался в пелену памяти, в память предка моего, но, сколь бы ни живы, ни зримы были представавшие мне картины, я не мог представить себе голоса деда; дед оставался неслышимым, безмолвным, безъязыким, и я не сумел воссоздать, вообразить его речь, проникнуться ладом и интонацией его говора... И, видно, он говорил на теплом, сочном карабахском наречии, а не на том дистиллированном языке, который присущ людям, чьи мозги напичканы

информацией и неудобоваримой новомодной лексикой, оттеснившей из памяти корневые, исконные, живые слова...

### **Черная напасть**

Как же близка к жизни смерть. Одни чувствуют ее, замечают ее приближение, а других она застает врасплох. Но эта смерть была иного рода. Эта смерть была заранее избранной и добровольной участью, предрешенным концом. Лебеди, умирая, поют прощальную песнь. Песнь смертную за Махмуд-бека споет жена Саялы, покидая бренный мир. Саялы знала: Махмуд-бек ни за что не стал бы петь в смертный час, услаждать ее слух печальной песней покорной жертвы, нет, он бы скорее плюнул смерти в лицо, чем позволил бы ей торжествовать по поводу очередной победы.

...Махмуд-бек, застыв на обрыве, всматривался туда, где кончается земля и начинается небо. А до неба, казалось, рукой подать.

В детстве, взбежав на косогор и забравшись на кручу, маленький Махмуд наивно пытался дотянуться рукой и коснуться неба. Теперь дорога, ведущая к небокраю, к скончанию мира, была затоплена водой, и Махмуд-бек знал, что это не вода, а мираж, а когда-то, в незапамятные времена, именно с этих предгорий Ноев ковчег, подхваченный потопом, вознесся на склоны Агры-дага. Махмуд-бек теперь думал не о первоначале, а о конце. Но ведь было и первоначало, первопуток, и не могло быть так, чтобы в этот последний час он не оглянулся на прошлое.

Детство... отрочество... юность... Лишения, бедность, ощущение обделенности, изгойства... Потом разразилась война, и его призвали в армию вместо больного бекского сына, и жизнь круто переменилась. В те времена мусульман не призывали на воинскую службу, исключение составляли лишь молодые люди из состоятельного сословия, дети беков, помещиков, то есть дворяне. Махмуд ушел на фронт вместо сына Бахрам-аги, с великодушного согласия именитого папаши, и это было честью, оказанной простолыдину из

мусульман. Махмуд надеялся ратным усердием и доблестью удостоиться царской милости и выбиться в дворянское сословие. В войне с Германией он сражался храбро и достойно, два года участвовал в военных действиях, был тяжело ранен, вернулся с высоко поднятой головой. И теперь он, удостоившийся бекского звания, оказался противником власти, которую защищал на фронте, и слышал шаги солдат, обступивших его со всех сторон, быть может, тех же солдат, вместе с которыми воевал против общего врага. Это движение, шаги, доносившиеся голоса, команды командира были ему знакомы, они казались даже родными, свойскими, но это была уже чужая, враждебная ему сила. Конечно, не такой смерти он желал себе, но осознавал, что сам предрешил свой исход, убив человека, который заслуживал, по его убеждению, этой кары. Теперь же настал его последний час...

\* \* \*

Вернувшись с фронта, он покончил с батрачеством, ценою крови, пролитой на войне, был возведен в беки. И не мог представить себе, что его геройская фронтовая страда обернется таким бессмысленным концом.

А смысл жизни он видел не в смерти, пусть даже в героической, а в возвращении к исконным родным очагам, оставшимся в далекой дали, в воссоединении с близкими.

Ему было девятнадцать лет, когда он отправился на фронт: сперва на арбе до Евлаха, дальше эшелоном в Баладжары и оттуда – в российские просторы; он не верил в благополучное возвращение; во всяком случае, никто из рекрутированных земляков с войны не вернулся, полегли костями в российских полях. Только дядя по матери Рза-бек вернулся целым-невредимым с русско-японской кампании и удостоился царской милости – получил титул бека. Но бекство не распространялось на Махмуда, ибо этот сан наследовался не по материнской, а по отцовской линии.



Представление о России у юного Махмуда было наивно-простое: это страна обильных снегов, необъятных полей и непролазных лесов. Знай он, что жизнь так бессмысленно закончится пожалуй, не вернулся бы в родные края.

А как было не вернуться? Помнил, как односельчане, пережившие мор, холеру, провожали его тоскливым дождливым днем, в промокших одеждах; в глазах их сквозь печаль, похожую на скорбь, все же теплилась искорка надежды: а может, повезет ему, может, вернется.

И он должен был выжить, вернуться, чтобы воскресить эти искорки, надежды. Так он думал прежде. Но теперь, в последние мгновения, он осознал, что его уберегло вовсе не то стремление возрадовать кого-то своим возвращением, а жажда будущей жизни, наполненной высоким смыслом единения с отторженными родными очагами.

Но произошло непоправимое, – помимо его воли.

Сидя на круге, он размышлял: нет, он не стремился непременно убить, – он хотел постоять за попорченную честь семьи, поставившей его на ноги. Но надо ли было убивать человека ради этого благородного порыва? Есть правый суд, есть суд Аллаха, стоило ли брать на себя право высшего судьи?

Может, холера, унесшая столько жизней, была карой Божией?..

\* \* \*

Черная болезнь косила нещадно всех подряд, выжили из всего рода немногие. Люди, спасаясь от напасти, сжигали умерших во рву, заглушали родники, сожгли пастбища, и без того отравленные саранчой. Перебрались всем миром в верхнюю часть села. Некому было даже оплакать умерших. Смерть стала обычным явлением. Умудренные старики считали эту беду испытанием Божьим, набожные – карой Господней, а простолюдые – роковым предначертанием. Село превратилось в пустошь, вымерло.

Махмуд тогда был подростком. Пас хозяйских верблюдов. Холера начала не с нижних и не с верхних подворий. Как тать в черной маске, она прокралась в середину села и проникла в очаг Нурахмеда, который чистил шкуру недавно заколотого телка. Жена и домочадцы наслаждались аппетитным запахом варившихся в казане телячьих потрошков.

Саранча погубила покосы и хлеба, а крысы, оттесненные ее полчищами, нахлынули в подворья и орудовали в овчарнях, не давая даже упасть на землю слизи с окотившихся овец.

Блох, вшей развелась уйма. Черная блоха, оторвавшаяся от шкурки, пристала к груди Нурахмеда; и он, взяв кровопийцу грубыми пальцами, раздавил грязными ногтями и размазал выступившую кровь о шкурку.

Наутро первым залихорадило Нурахмеда. Язык опух и посинел. Его била дрожь, и хоть сожгли всю поленницу, чтобы отогреть его, не помогло. Жена поставила ему банки на спину и, как водится в народном пользовании, надсекла тело, кровь пустила. Никто не видывал, чтобы кровь была розовой. И эта розовая кровь поглотила и Нурахмеда, и его жену, и троих его детей.

Холера уже действовала не исподтишка, а появлялась, где ей вздумается, как нахальные сельские сплетницы, неся смерть с собой. И смерть иссушала людей, крушила, сжигала плоть, не отставала, пока не выворачивала нутро наизнанку. Такую страшную смерть видел только самый древний старик в селе Усуб по прозвищу Хабеш<sup>1</sup>. По сути та смерть тоже не шла в сравнение с этой, нынешней. Смертоносная хворь, свидетелем которой он был, застала его в далеких краях, в Аравийской пустыне, когда Усуб был еще мал. И он не мог сообразить: что это за хворь, сон или явь, кошмар или правда. Запомнил только то, что случившийся рядом араб-бедуин все поил его соленой водой, а сам свалился и остался лежать в пустыне. Усуб, пока добрался до этих мест, повидал много краев. Долго плавал по Красному морю на вёсельном судне. В наши края его занесла какая-то превратность судьбы. Обосновался, прижился, освоил чужой для него язык, прикипел

---

<sup>1</sup> Хабеш – эфиоп.

сердцем к местным людям, и даже его черная кожа со временем посветлела и стала медного оттенка.

По его совету, Фархад-киши верхом на коне отправился в Сисянский уезд за вяленой соленой говядиной. Другая группа во главе с внуком Усуба – Велиагой – пустилась в путь к Нахичевани – на гребной посудине по Араксу. Единственное средство избавления от этой напасти люди видели в соли, и ее дефицитом объясняли распространение холеры. Как бы то ни было, долгое время здесь привыкли обходиться без соли.

Тогда-то Махмуд в первый и последний раз в жизни увидел весельное судно. Деревянная посудина ушла вверх по Араксу и не вернулась. Дошел слух: то ли холера их застала в пути, то ли кто-то захватил судно. Вероятнее была последняя версия. Что касается этой посудины, то ее сработал своими руками Хабеш Усуб.

Фархад-киши вернулся через три недели. К тому времени в селе оставались Махмуд, жена Фархада Гюльсум, его сын Аббас, дочь Пирахмеда Тариш, – это в верхних подворьях, а в нижней части – сырые внуки старой Тамам, Вели Османоглу.

Люди, спасаясь от напасти, перебрались сперва в урочище «Ял-оба»<sup>1</sup>, а затем обосновались на приречье, у Аракса. Но слишком далеко перебираться не могли, чтобы не оставлять без призора родные могилы, не сиротить души умерших. Холера загубила их плоть, но души-то не были ей подвластны... Дети не понимали эту смерть, молодежь не могла поверить в ее неотвратимость, а старики, пораженные недугом и обреченные, просили по смерти сжечь их во избежание заразы.

Если бы люди покинули могилы своих близких и ушли бы далеко, то души усопших не дали бы им покоя и не простили бы их.

Ужас мора оставил на лицах и в душах выживших неизгладимый след, и кошмарные видения преследовали их всю жизнь.

---

<sup>1</sup> «Ял» – распадок; седловина, «оба» – селитьба, становье.

Но человек живуч и долготерпелив. Махмуд потерял родителей, похоронил и младшего брата Абдулау и сестру Набат, а души их угнездились в его сердце и памяти.

Горе сплачивает людей.

Но проходит время, заживают раны, утихает боль, забывается трагедия, и люди начинают жить на старый лад и не могут отрешиться от былых свар. Люди этих мест не могли жить иначе. Там, где конь не без скачки, там, где сила не без драчки, там, где огонь не без горячки...

### **Человек, воде поведавший любовь**

Настала пора перебираться с низины в горы. А горы опушились серебристой полынью, поляны зарделись, вспыхнули пламенем маков.

Был солнечный день.

Суровый студ горного урочища «Дженнет юрду»<sup>1</sup>, находящегося над Горисом, не добирался в эти предгорья. Уж минула пора, когда по ночам вода покрывалась наледью. Солнце весело улыбалось людям. Самое время играть свадьбы.

Махмуд-бек уже был вполне здоров. Месяц лечения в полевом госпитале и еще домашний уход поставили его на ноги. От ранения в живот остался большой шрам.

Помог ему окрепнуть и мед, привозимый из Гориса.

В такой день он вышел на приволье, в «Ял-оба». В воздухе пахло свежестырированным бельем. Все дышало праздничным ладом и обновлением – от кустов карагана<sup>2</sup> над обрывом до стройных мальв. Из-под кустов тамариска, шелковиц и карагана выглядывала молодая трава, и по земле торили тропинки улитки, оставляя за собой слизистый след. К запаху разнотравья примешивалось сладкое благоухание расцветающего пшата.

---

<sup>1</sup> «Дженнет юрду» – «Райский край».

<sup>2</sup> Караган –солянка.

Давным-давно взойдя на «Ял-оба», куда хаживал и мой дед тому назад, считай, сто лет, я сказал своей юной избраннице сердца: «Я принес тебе веточку пшата». Избранница залилась серебристым смехом и устремилась по косоугру вниз, где под обрывом бил родник. Я побежал за ней, опережая ее, подставил ладони под родниковые струи и преподнес ей воду в горсти. Она отстранила мою горсть, закатав подол юбки, опустилась на колени и припала розовыми губками к прозрачным струям, напившись, утерла подолом рот и стала вновь карабкаться по обрыву вверх. Стали видны ее белые икры и чуть повыше, на палец, бедра. У меня взыграла кровь, и только на верхотуре, на самом гребне обрыва, когда она глянула на меня сквозь ветви тутового дерева, я сообразил, что дал маху. Ей не воды хотелось, а губ моих! Я рассердился на себя за свою наивность. Впрочем, и меня, зеленого юнца, можно было понять. То, что амбициозный отрок, мечтавший о более высоких свершениях на этой земле, позволил себе волочиться за девчонкой, напялившей на себя мамину юбку и надевшей несоразмерный лифчик, было уже зазорной нелепостью и напоминало погоню за дичью в джунглях, которую хотят ухватить голыми руками.

\* \* \*

Махмуд-бек, застывший на гребне обрыва в урочище «Ял-оба», засмотрелся в даль. Видневшиеся оттуда стада, пасшиеся на выгоне, разомлели и медленно поспешали в прохладную тень – к зарослям тамариска и карагачам.

Когда он съехал вниз, на коне ему повстречалась стайка девушек, похожих на лебедей. И была среди них красавица с длинными черными косами, вившимися змейками поверх белой шали, из-под которой выглядывало сверкающее монисто из серебристых монет. При виде мужчины все прикрыли лица яшмаками.

Он обомлел.

Стоило ему крутануть плеткой – мог зацепить молодницу за косы длинные, подтянуть к себе, подхватить, стегануть коня, и – айда!.. И вдруг он испугался самого себя, и взоры магические вселили смуту в душу. Точно это был не храбрый воин Махмуд, возведенный в беки августейшей волей, а древний сирота-холоп, которого хозяин шпынял почему зря... Да, война – другое дело, там метят в тушу, а тут – в душу... Там свары смертные, тут чары светлые... Повернул круто коня, и вновь помчался по крутизне. И услышал веселый смех вдогонку.

В тот же день, привязав гнедого в конюшне, побродил-походил у Аракса, и поведал тайную тоску свою бегущим водам, ибо некому было сказать из близких – всех: и мать, и отца, сестру, братьев, унесла холера проклятая. Остался только дядя по матери, Фархад. И тот сидел у дома на валуне и дымил своим чубуком. Уже в годах, а ни одной сединки. Не улыба, молчун, слова клещами не вытянешь. Походил Махмуд, покружил и тихонько к дяде подсел.

После паузы услышал:

– В овчарню Гашима волк повадился. – Перехватив вопрошающий взгляд племянника, пояснил. – Я ж его предостерегал... Сейчас, знаешь, бирюков-одиночек сколько развелось. Многие волки не пережили зиму – мы ведь их к скотине не подпустили, еще и напасть их скосила... То-то обнаглели... – Помолчав, Фархад-киши добавил: – Большая тварь считай, гиблая.

Сообразив, на что намекает дядя, Махмуд промолчал. Стал ковырять щепкой землю. Дядя покосился на племянника.

– Похоже, что-то на душе у тебя невысказанное?

До сих пор он не заговаривал с дядей на эту тему, стеснялся, соблюдая грань между младшим и старшим. Начал издалека:

– Сегодня я поднялся в «Ял-оба». Оттуда спустился к Араксу. Запах холоднянки поманил меня к роднику... Я – туда... – Он выдержал паузу. – Девушки при виде меня яшмаками прикрыли лица и давай хихикать.

– Какие девушки, чьи?

Он пожал плечами.

– Ну... как сказать... Но, похоже, среди них и дочь Мамедалы была, – выдавил из себя. Взрослый мужчина, а перед дядей скукожился, сник.

– Вот оно что, – Фархад-киши многозначительно уставился на племянника. Поднялся на ноги, прошелся по двору, задержал шаг у тапана<sup>1</sup>. Поглядел на ягнят, дождавшихся своих матерей, покосился на Махмуда.

– Через месяц-другой сгодятся в пищу... – Прежде чем спустился в хлев, сказал: – Вели парню, чтоб после кормления ягнят не доить овец и загнать в овчарню. И крепко запереть. Тут много зверья крутится...

Махмуд-бек, смущенный своей невольной откровенностью, не решился поднять глаза.

Дождался, когда дядя уйдет спать.

При виде его дядина жена, которую они звали «биби», улыбнулась сквозь яшмак, прикрывавший пол-лица.

– Твой дядя мне сказал... – Он понял, о чем речь. – Завтра сватать пойдет. – Заплаканные глаза биби продолжали светиться улыбкой.

В ту ночь, несмотря на настояния биби, он не отправился домой, а остался ночевать в сарае, рядом с конюшней. Чтоб не попадаться дяде на глаза, встал чуть свет, обошел пастбища, побродил по садам и к полудню явился к цирюльнику Касуму. Побрился, постригся и убил время в чайхане Бахшалы за разговором о том о сем с сисянскими ребятами. В тот день, куда бы он ни ходил, все смотрели на него как-то по-новому, со значением. Слух перескочил через заборы и плетни и пошел по всему околотку. Теперь-то и народу в селах – по пальцам можно пересчитать, холера унесла. Потому звуки зурны и балабана<sup>2</sup> воспринимались как весть о небывалом торжестве.

Пришел Махмуд домой поздним вечером. Фархад-киши со сватовства еще не вернулся. Махмуд места себе не находил. Подался к реке, сел под

<sup>1</sup> Тапан – закут для молочных ягнят, сооружавшийся из частокола сходящихся кверху камышей; тапан обводился рвом, предохраняющим от затопления. (Примечание автора).

<sup>2</sup> Балабан – духовой музыкальный инструмент.

ивой плакучей, только начинавшей зеленеть. К дереву была причалена плоскодонка. Река в густеющей тьме казалась черной парчой, мерцавшей под лунным светом. Сколько просидел-прождал – не помнил. Наконец, показались два силуэта на дороге. Фархад-киши что-то сказал своему спутнику – свояку Баба-киши, и тот, кивком приветив Махмуд-бека, направился к верхней махалле, к своему дому.

Даже в полумраке племянник различил насупленное лицо. Прихмур приписал неудаче, хотя и знал, что от дяди улыбки не дождешься, что сваты получили от ворот поворот, Махмуд-бек похолодел еще и оттого, что вогнал в конфуз дядю в столь почтенном возрасте. «Зря я с бухты-баракты все выложил...». Дядя присел на камень поодаль. Извлек кисет, набил табаком чубук, который сам вырезал из дубовой древесины пару лет назад. Затянулся дымом. Подняв гальку с земли, швырнул в темную прорву. Махмуд даже вздремнул. Последовала еще затяжка.

– Вот такие дела... Я и не знал, что у Мамедалы такая дочь... Рослая... в мать пошла...

Круги от брошенного камушка лизнули кромку берега, истаяли, и гладь воды вновь погрузилась в безмолвие. Как перед бурей... Клубы табачного дыма повисли в воздухе, почернели и исчезли из виду. Тишину нарушал начавшийся «концерт» цикад.

На соседнем холме кто-то искал-окликал затерявшуюся животину.

Еще один камушек, брошенный Фархадом-киши, полетел в сонную прорву. Его голос опередил плес встревоженной воды.

– Готовься к свадьбе.

И – больше ни слова.

Сказав это, дядя зашелся хриплым кашлем, выплюнул блевотину.

Махмуд-бек, воспрянув духом, на радостях даже забыл поблагодарить. Вскочил, побежал к дому и вскоре умчался в сторону Гей-тепе... До утра не сомкнул глаз. Для него начиналась новая, неведомая пора жизни...



Стук в дверь. Я открыл: жена. Полная неожиданность.

– Не бойся, ничего не случилось. Просто забеспокоилась о тебе, – виновато сказала она. Будто не она днем раньше «порадовала» меня мрачными откровениями гадалки-прорицательницы. – Подумала: если ты забыл об именинах детей, значит, что-то неладно...

Только сейчас я спохватился: сегодня – день рождения наших двойняшек!

Волей-неволей пришлось последовать с ней домой. На станции метро купил Эльгюну игрушечную машинку, а Лейли – «Барби». Увы, не успел порадовать детишек – они уже спали.

Сынишка спал ничком, уткнувшись в подушку, прослунявив наволочку.

– Температурит, – кротко сообщила моя половина. – С утра заладил, где папа, где папа, прямо расчувствовался. Я сразу смекнула: жар у него... – Помолчав, спросила: – У вас в роду не было пироманов? – И в ответ на мое удивление: – С утра он вертелся на кухне и сжигал спичками муравьев, копошившихся у плиты и раковины. И смеется. Боюсь, как бы он и квартиру не поджег...

Я усмехнулся ее страхам. Ведь я сам в детстве выкидывал подобные штучки, вот и нашелся у меня последователь по этой части.

– Были у нас пироманы...

Лейли спала, как всегда, свернувшись калачиком. Как ежик.

Похоже, что-то ей снилось тревожное. Ручонкой то и дело потирала носик.

Поглядел я на спящих именинников, прошел в гостиную, открыл окно. Ветер с моря пахнул мазутом.

Моя творческая «реинкарнация» была нарушена. Я выбился из «кода» памяти. Ворочаясь в постели, стал прокручивать все, как киноленту, пытаюсь

воссоздать в воображении места, которые обходил мой дед в детские годы... И очутился в совершенно других обстоятельствах. Я увидел себя в пустынном поле, в окружении волчьей стаи. Различал оскал зубов... Потом хищники превратились в незнакомых людей, которые стали надвигаться на меня... Вдруг откуда ни возьмись, появился конь в пежинах, дедовский конь, только крылатый, подхватил меня и умчал в небо, а я лечу, крепко прижимаясь к крыльям... Очнувшись, увидел, что жена прикрывает меня съехавшим одеялом. Глянул в окно, оно оставалось открытым... Я пытался вспомнить лица приснившихся людей, но их как не бывало, а вот конь, похожий на сказочное видение, стоял перед глазами.

\* \* \*

Мальцом, как стал мыслить, я заявил бабушке, что буду, как дед, ездить на коне, и день-деньской носился по пустоши между нашим и соседским дворами на камышовой «лошадке» и даже издавал звуки, похожие на ржание. Бабушка по-доброму улыбалась, глядя на меня, а отец хмурился. В другой раз я «доскакал» на своей «лошадке» до дома Гюльмаммеда, то есть через три двора.

Затем мои вылазки достигли околицы, туда и обратно. Со временем «лошадку» сменила «джиг-джига», то есть колесо, которое я гонял перед собой толстой проволокой, продетой одним концом в середину колеса.

Потом я умыкнул велосипед соседского мальчика, тем самым возрадовав душу лихого деда-гачага. Детство позабылось. Поступил в университет, мечтал о лаврах наших старых просветителей. Не получилось. Никто всерьез не воспринял мои педагогические поползновения. Тогда я, прости меня, Аллах, возмечтал «глаголом жечь сердца людей». Эти пророческие претензии вызывали у ближних моих саркастическую усмешку, потому, что я изменил первоначальному слову – детской мечте – стать заправским наездником. Впрочем, это и изменой не назовешь, просто образ

коня, овеянный легендами, потерял в моих глазах романтический ореол. Я при непосредственном знакомстве только однажды ездил на коне. Да и то конем не назовешь, кляча была, считай, галопом ей слабо было пуститься. Всегда так себе, трусцой поспешала. Это была лошадь Мурвета из Джафарабада, по кличке «Ябы» (то есть «Кляча»), и я по ней добрался до урочища «Чайагзыбагы»<sup>1</sup>. От езды на голом, без седла, хребте у меня вся промежность одеревенела, и я зарекся впредь не садиться на коня; и, возвращаясь восвояси на новом «Запорожце» зятя, благодарил Аллаха.

Любопытна и история покупки этого драндулета, который у нас в просторечии именовали «запы». История потешная, и если мне все вам рассказать, может, мой любимый зятек даже обидится на меня, но и умолчать вовсе не могу. В приобретении этого исчадия техники я принимал определенное участие. Накануне покупки, взвалив на спину рулон цветного ковра, мне в сопровождении зятя пришлось тащиться в село через перевал, скатываясь по крутизне, рискуя полететь вверх тормашками; это еще полбеды, мой зятек попутно посвящал меня в азы вождения машины, демонстрируя ногами и руками, как надо тормозить, нажимать на сцепление, газ, переключать скорости, и я даже опасался, как бы он сам не загремел вниз. Когда я рассказал про этот дорожный инструктаж сестре, она не могла удержаться от смеха, потом серьезно наказала, чтобы я не распространялся на людях насчет нашего обожаемого зятя. Так вот, теперь, когда я вам второпях выкладываю все эти занятные эпизоды, вы, наверно, представляете, сколь интересными были для меня дни минувшие, и оправдываете словоохотливость рассказчика, сказывающего сказы о вымершем селе и умиляющегося невинными шалостями детства.

Прошлое влечет своей первозданностью. Грядущее темно и холодно. Все, что есть истинного, – в прошлом...

Размышляя обо всем этом, я забылся сном. И во сне пытался поймать синюю птицу. То была сказочная птица Симуург, явившаяся из седой

---

<sup>1</sup> В переводе – «Приречный сад».

старины. С таким же настроением сказочного воодушевления я вышел из дома, сказав жене, что если будут меня спрашивать, пусть говорит, что я ушел отмечать годовщину бабушки.

Кто-то жег полые листья в сквере, и, странное дело, дым пробуждал в душе моей ностальгию по прошлому. Мне хотелось мысленно перенестись назад и пережить прошлое. Для меня теперь были интересны не реальность, а миражи и грезы. Это было уже не просто чаяние души, а образ жизни. Все, что одушевляло мое существо, вращалось вокруг сундука бабушки, кожаного старого кисета и запаха полыни.

Я отправился в общежитие.

### Убийство

...Все шло, как в сказках со счастливым концов и Махмуд-бек в свадебный вечер сидел в новехоньком доме, построенном из булыжного камня, привезенного с поймы за магаром<sup>1</sup>, и ждал сказочных трех яблок, которые непременно падали с неба в финале.

Ашуг картинно расхаживал по магару с сазом в руке, напевая какой-то отрывок из дастана об Асли и Кереме и, иногда, остановившись, как бы запоматовав стих, чаял вознаграждения.

Кто протянет зеленую тридцатку, кто красный червонец, – и сказ звучал, и саз звенел своим чередом.

Погодя вместо сказочных «трех яблок» появились три друга жениха. Они нарядили Махмуд-бека и повели в комнату невесты. Жених был взволнован, но, чтобы скрыть волнение, перешучивался с приятелями-дружками. Правда, и сам не помнил, что говорил. Двоюродный брат Бахман, недавно женившийся, имея некоторый опыт, посвящал бека в то, какие испытания и каверзы ждут его. Наставлял, как важно, кто первым придушит кота, спрятанного в комнате невесты. «Кота привязали не под кроватью, а за

---

<sup>1</sup> Магар – крытое помещение, временный шатер для торжеств.

сундуком», – шептал Бахман жениху на ушко. А Махмуда смех разбирал, потому что для него никакого значения не имело, кто первым задушит кота: «Кот не тать, не враг, чтоб душить».

Брачная ночь показалась ему сном. И наутро он проснулся с чувством легкости и душевного покоя. Саялы – его молодая жена – рядом уже не было. По обычаю, муж не должен был видеть жену спящей.

Жизнь выглядела прекрасной и налаженной. Ему казалось, что в мире водворяются лад и порядок, и впредь не будет ни кровопролития, ни вражды. Рождение сына придало ему новых сил. Но все было в руках Всевышнего, и Он правил миром. Господь был волен осчастливить человека, и Рок был волен обездолить.

Через несколько дней после женитьбы Аббаса – сына Фархада-киши – молодожен пал жертвой чьей-то ненависти и гнева, – на эйлаге зарезали его, и эта беда перевернула жизнь. Самое страшное и унижительное последовало потом, когда, еще до исхода сороковин после гибели дядиного сына,, умыкнули молодую вдову – Сальминаз. Это был позор для всего рода. Они терялись в догадках. Со стыда не могли показаться на людях. Они покинули новоотстроенный дом из кирпича и джабирабадского камня и перебрались в полутемную хибару. На улицу выходили только женщины и дети. Они-то и пытались разузнать, кто умыкнул Сальминаз.

Фархад-киши надеялся, что вскоре выявят зачинщиков лиходейства.

Нити вели к махалле «Кисечиляр», потому, что руки Сальминаз просил и внук Амира Алы, но сваты получили от ворот поворот. «У меня нет дочери на выданье для вас!» – отрезал отец девушки Шахсувар.

В махалле «Кисечиляр» – тишина. Первое сообщение принес внук Черного Османа Гусейналы: мол, Алы уже несколько дней не видать. И пса своего развязали и отпустили на все четыре стороны. Чтобы уточнить, в чем дело, самого Гусейналы отправили в сторожку Шамиля в «Ял-оба» – караулить. Но вскоре донеслась весть, что Алы находился в Горисе. Родич Фархада-киши, губатлинец Аллахверан сообщил, что Алы купил у армянина

Сурна пару свадебных туфельек. А сплетница Фатма сказала, что старуха из махаллы «Кисечиляр» Нарханум выстелила сушить на солнце фату... И добавила, что дверь старой хибары в «Кисечиляр», давно позаброшенной, позабытой, по ночам скрипит, туда частенько кто-то захаживает. Может, и молодуху овдовевшую там прячут.

Аксакалы стали судить-рядить, строить план нападения на махаллу «Кисечилер»: через пару дней Фархад-киши объявил людям, как действовать: «Махмуд двинется снизу, из-под обрыва, внук Черного Османа Гусейналы – слева, со стороны дома Атаманоглу, а дядя Махмуда Рза – справа, со двора дома Зульфугара. А мы с Бадальханом пойдем напрямую на них...».

До вечера никто ни словом не обмолвился, ждали приказа к нападению. Но незадолго до наступления вечера случилось непредвиденное. Агбирчек<sup>1</sup> махаллы «Кисечиляр» – Зивер-арвад, согбенная старуха, притащилась к дому Фархада-киши, переступила порог. Его люди потянулись к ружьям. Хозяин остановил их жестом: «Гостя так не встречают. Тем более, женщину».

Зивер подступила к Фархаду-киши, стала прямо перед ним, подняла голову:

– Мы к этому делу непричастны. Ищите вашего врага в другом месте.

И, подобрав подол юбки, согнув тощую фигуру, устремилась к дверям и ушла восвояси.

Фархад-киши не знал, как быть. Непричастность «Кисечиляр» надлежало проверить. Но было совестно являться в дом, двери которого он до сих пор не открывал, в качестве подозревающего. Убеждение в том, что зло исходило от «Кисечиляр» было если не опровергнуто, то основательно поколеблено.

В эти минуты чабаны с эйлага «Гей-тепе» явились с совершенно неожиданным сообщением, оказавшимся истинным: единственный сын

---

<sup>1</sup> Агбирчек – почтенная уважаемая женщина, которой вверялось решение и улаживание опасных свар, спорных вопросов, как и аксакалам.

Бахрам-аги Селим в последние дни не показывался в махалле, его видели в старом покинутом селище вместе с верным псом; там он и ночевал; родня его вела себя подозрительно.

Что было делать Селиму на старом селище? После холеры, мора, поглотившего это место, – оно было как проклятое, и с какой стати Селим стал бы там обретаться? Версия о его причастности выглядела резонной. Аксакалы решили удостовериться в этом. И в ночь того же дня Фархад отправил внучатого племянника Дамета на разведку в старое обезлюдившее селище. Всю ночь ждали, не смыкая глаз. Ламен вернулся и, потупив голову, выдал из себя: «Она – там...».

И больше ни слова.

Люди и не допытывались. После этой новости что-то оборвалось, рухнуло внутри у Махмуда.

Мир обесцветился в его глазах. Перед глазами стоят родной человек, брат матери, которого в одночасье согнула и состарила беда, – страшно было видеть потухшие глаза и сразу поседевшие волосы. Фархад-киши, снискавший доброе имя и почтение во всей округе, выглядел сломленным, убитым. Дядя, родная душа, под сенью которой он выбился в люди, стал на ноги, построил гнездо... Теперь он, дядя, был сражен гибелью сына и неслыханным вероломством, опозорившим очаг.

Но должно было произойти событие, свершиться действие, которое смоеет это пятно...

И это событие будет стоить жизни самому мстителю.

В первый четверг поминальный обряд справили в землянке, тихо, укромно. Но когда выяснилось, кто умыкнул молодую овдовевшую сноху дяди, седьмой день поминовения Аббаса отметили на открытом подворье. Нельзя было что-то предпринимать, пока не пройдут сороковины Аббаса и пока родители убитого не дадут согласия и благословения на праведную месть.

Махмуд-бек не мог до конца уяснить мотивы совершенного лиходейства. Не совсем понятным было то, что зло исходило от сына Бахрамаги, человека, который вольно или невольно оказался причастен к тому, что Махмуд доискался бекского сана, – ведь он пошел на фронт из-за того, что не рекрутировали больного Селима, страдавшего сызмала пороком сердца. Уж показывали его врачам и в Баку, и в Гяндже, и даже в Петербург возили, проку не было. Но болезнь как-то сама по себе сошла на нет. Когда Махмуд вызвался отправиться на фронт вместо негодного к службе Селима, Бахрамага не стал противиться и даже благословил его... Таким образом, Бахрамага сыграл свою роль в сословном восхождении Махмуда. Но что значит бекство, сан, положение в соотношении с загубленной человеческой жизнью? С оскорбленной честью рода? Здесь, в этих краях, позор можно было смыть только кровью. Иного не было дано. Даже за убийство, случалось, откупались. А за честь – никогда. Здесь нельзя было откупиться ни парой верблюдов, ни стадом овец. В ином случае возможно было договориться, столкнуться. Но сейчас все жаждали отмщения. Однако никто не решился при Махмуд-беке опередить его волеизъявление. Судили-рядили, да так и задремали в землянке.

Уже вечером седьмого дня Махмуд-бек взялся чистить пятизарядную винтовку, возился до полуночи, опоясался патронташем – с тридцатью двумя ячейками.

Делал все это машинально, одержимо, не помня себя. Только когда засветло выехал на гнедом коне, и ветер обдал лицо, он протрезвел и с холодной ясностью осознал, что назад пути нет, чуть раньше, у ворот ухватив поводья коня дрожащими руками, заглянул племяннику в лицо, но не решился удержать его. И, кажется, выдавил из себя: «Сам знаешь, куда и зачем едешь!» Может, дядя и не произнес этих слов. Но он прочел по глазам. Услышал крик исстрадавшейся души. На бледнеющем небе бессмысленно мерцали звезды. Они казались мертвыми, но одна из них как будто усмехалась. И ему подумалось, что эта наглая звезда горит над тем самым



местом грешной земли, где Селим спит со вдовой его двоюродного брата... Звезда поусмехалась, поусмехалась и померкла, обессилела, отуманилась, быть может, оттого, что слеза набежала ему на глаза, и он направил коня вскачь в ту сторону, куда указывала странная звезда.

В сердце накопала злость и на Бахрам-агу. Он не предпринял никаких попыток, чтобы не дать этому происшествию перерасти в смертную вражду, не подумал даже послать человека к Фархаду. Только и сказал: «Я не ведаю об этом деле».

Правду ли говорил, кривил ли душой, Махмуд не мог понять. Но как ни крути, непотребно, негоже им было угонять молодую вдову из дома, с которым некогда состояли в ладах и добрых отношениях.

А младший брат Бахрам-аги Гарахан, несмотря на мальчишеские стычки, был плебейского способа устройства брачных отношений; обставили-обговорили бы все честь по чести, по-людски, испросив согласия и получив благословение другой стороны. Кроме того, Бахрам-ага вряд ли одобрил бы выбор и союз единственного сына со вдовой, ведь свет не клином сошелся. Умыкание вдовы подкрепляло подозрение, что и убийство Аббаса – дело рук этих же людей.

Дорога к старому селищу могла бы показаться долгой, как караванный путь. Но гнев, полыхавший в душе, свел это расстояние в ничто. Там, в покинутом юрде, сейчас обретался «вор чести», посягнувший на святая святых.

Дом Бахрам-аги находился далеко от старого селища, в новом поселении – холера заставила убраться подальше. Но не все селяне могли построиться заново, многие перебрались в верхние подворья, а оттуда, гонимые бедой, подались к пойме Аракса. Но и очаг Бахрам-аги не избежал черной напасти, и напасть свела в могилу его жену Нисабейим, двух сыновей и двух дочерей. Остался он со средним сыном Селимом.

## Месть

Селим спрятал молодую вдову в старом селище, в землянке на отшибе.

Махмуд-бек должен был проникнуть в село незаметно. Но его могла выдать луна, залившая округу млечным светом. Четко просматривались тени деревьев. Съехав под обрыв, он добрался до сада Гурбанали, миновал огороды Миркиши, спешил, привязал коня к тутовому дереву у изгороди подворья Селима. Тутовое дерево снадала порча, ни живо, ни мертво, вся кора облезла, листья пожухли. Он перелез через плетень, сооруженный из держидерева. Пес хозяев по кличке Султан учуял шорох, залаял, ринулся к Махмуду, но, узнав, завилял хвостом и присел. Махмуд извлек из-за пазухи телячьи лодыжки, кинул псу, и Султан стал уминать кости, клацая гнилыми клыками.

Вот где емугодились давнее пастушество у Бахрам-аги и памятьливость верного пса...

Он выждал некоторое время: лай собаки мог кого-то разбудить и всполошить. Но никто не вышел. Все погрузилось в дрему. Со стороны Аракса доносилось пение тураджа. Во тьме мерцали светлячки. Полное безветрие. На тутовом дереве ни единый лист не шелохнулся. Один сук шелковицы навис над кровлей землянки. Махмуд взобрался на дерево и оттуда – на кровлю. Баджа-проем на кровле – была открыта из-за летней духоты. И сверху просматривалось внутреннее пространство помещения, слабо освещенное лунным светом. Он наклонился и заглянул внутрь. И увидел подтверждение самой худшей догадке. Селим с Сальминаз спали на тахте, и ее обнаженные бедра белели в полутьме, тело напоминало скособоченную в воде рыбу, и лунные блики блуждали по белому животу.

Махмуд отвел глаза.

Обвязав один конец веревки вокруг пояса, другой – за сук, он осторожно свесился сквозь проем-баджу вниз. Селим спал на боку. Похоже, маятно было ему, то и дело чесал волосатой рукой свой нос, ухо и во сне

кого-то бранил. Посягать на спящего – не по-мужски. Махмуд-бек присел на колоду, вырезанную из тутового дерева, и стал ждать, когда Селим проснется.

После войны он так и не видел Селима. Сын Бахрам-аги изменился. Волосы пожухли, и бородавка на носу еще больше потемнела. Он был года на два моложе Махмуда.

Селим (довоенный, давнишний) помнился ему ледащим, хрупким, задиристым, но отходчивым мальчишкой. А сейчас виделся Махмуду лиходеем, убийцей. И даже лицо спящего Селима вызывало отвращение.

Сколько времени прошло – он не заметил. Донеслось ржание коня. Махмуд тут же вскочил и, чтоб не проснулась Сальминаз, зажал ладонью рот Селиму, а другой рукой приставил кинжал к его горлу. Селим, открыв глаза, пытался вскочить, но, увидев холодное лезвие, ужалившее кадык, обмер. И вытаращил глаза на внезапно нависшего над ним человека.

– Выйдем, – Махмуд схватил его за грудки и поднял. Когда дошли до двери, Селим неожиданно рванулся назад, к постели. Потом окажется, – хотел выхватить наган из-под подушки. Махмуд успел схватить его за ногу, и Селим плюхнулся на пол, ударившись лицом об угол тахты. Завязалась схватка, покатались по полу. Махмуд не хотел кончать его тут, в землянке.

Неизвестно, сколько продолжилась бы их бесшумная схватка, если бы Селим не заорал благим матом.

Когда Сальминаз проснулась, дело было сделано. Селим лежал с перерезанным горлом, залитым кровью, с выпученными глазами. Это произошло внезапно. Кровь, хлеставшая из горла Селима, залила пол. Он бился в конвульсиях и что-то хрипел.

Махмуд отвел глаза. В углу валялось седло, рядом – старый палас. Он взял палас и накинул на Селима.

Вытер руки, обогранные кровью, чувствуя себя как в кошмарном сне.

Когда шагнул к дверям, Сальминаз упала и вцепилась ему в ноги. Как ни отталкивал, ни отпихивал, не отвязывалась. Зашлась плачем. Потом

начала кусать руки-ноги Махмуду, царапать ему лицо. Так кусанула, что у самой на губах заалела Махмуда кровь... Женщина, ставшая подстилкой умыкнувшему ее врагу, проклинала Махмуда до седьмого колена. И он, чтобы заткнуть ей рот, стал душить ее... А горло у нее тонкое, и кадык у нее мягкий, податливый.

Он-то думал, что у них общий враг – лиходея, насильник, выходит, она думала иначе. «Чтоб ты сдох... чтоб ты окошел... от руки швали...», – хрипела-проклинала она до тех пор, пока не обмякла, не задохнулась. Он разжал руки.

Она упала навзничь.

Обнажились груди спелые, бедра белые...

Шайтан навис над головой у Махмуд-бека, что-то вкрадчиво стал нашептывать на ушко, чтоб не слышать подлых наущений, схватил циновку, накрыл женщину, застыл, как вкопанный. Потом, как безумный, рванулся к двери. Поскользнулся на ступенях, еле удержался на ногах. Мерджан при виде хозяина заржал. Рядом с конем притулился пес Султан, уставившись на коня красными кровавыми глазами.

Донесся вой шакала.

Он не стал садиться на коня, взяв под уздцы, поднялся на гребень обрыва, оттуда спустился к Араксу, смыл кровь с рук и направился домой.

Саялы не спала.

А дядя и остальные родичи дожидались его на задворках.

### **Женский вопрос**

Хлопанье двери вернуло меня в современность. Сквозняк бушевал по коридору. Послышался чей-то хохот. Выглянул – никого. Только ветер куражился. Смех был похож на Милин. Я закрыл дверь и запер. Сквозь окно сочился лунный свет, вспомнилась комнатуха Милы... Я гладил ее белое гладкое тело, высвеченное луной.

Она лежала на боку и млела.

Неожиданно приподнялась:

– Ты бы женился на мне?

– Я?

Она залилась смехом.

– Да... ты... ты...

Села в постели. Я тоже поднялся.

– Ты спятила? Как я могу? У меня ведь семья... дети...

– Это отговорка! Ты считаешь меня шлюхой, да? Если и не признаешь, я знаю. – Смех прервался. Похоже, собиралась к крупной «разборке».

– Я вижу в тебе умную и красивую женщину.

Она не поверила и грустно вздохнула.

– А я надеялась... Ведь любая шлюха, ложась в постель с мужчиной, лелеет тайную надежду... Может, он женится на мне. Вот и я... все отдала тебе, ласки, любовь, страсть, все, все. – Горько усмехнулась.

Дверь смежной комнаты открылась, и кто-то вышел в коридор, судя по стуку каблучков – женщина. Непроизвольно встал и направился к двери. Паук на стене всполошился и забегал по паутине. Потом застыл в углу и выпучил на меня глазки: когда, мол, этот нахальный пришелец уберется. Но через минуту мне вдруг показалось, что паук от чего-то меня оберегает, потому что он оплел паутиной и всю дверь. Выключив свет, я спустился вниз. Вестибюль общежития заполнил едкий запах дешевых сигарет, которые курил, судя по отрешенному виду, давно ничего не ждущий от этой брэнной жизни, вахтер. Прежде дежурил другой человек, и различались они только именами. Оба – коротышки, щербатые, плешивые, в одинаково серых потрепанных костюмах. Из-под рубашки у обоих выглядывали замызганные футболки. И кашляли, и смеялись одинаково, с хрипотцой. Чем-то они напоминали мне лупоглазого пышноусого Нурали – нашего железнодорожного стрелочника, который сидел на полустанке в своей будке и встречал поезда с флажком в руке.

Смеркалось. Прохожие на улицах поредели. Фонари, установленные усилиями нового мэра, сияли вовсю. Доехав автобусом до метро «Гянджлик», я прошелся по парку и, выйдя оттуда, зашагал по тротуару, разглядывая витрины. В витрине магазина «Самсунг» красовалась Анджелина Джоли с пылесосом в руке. Мне почему-то стало смешно. Вообразить голливудскую звезду с пылесосом в руке могли только мусульманские мужчины. Подошел к салону автомашин. Дама в темных очках под яркой лампией выбирала себе иномарку. Сопровождавший ее персонаж, видимо, был любовником, так как, выражая неудовольствие той или иной предлагаемой моделью, она обращалась не к продавцам, а к спутнику, причем не без жеманства. Я узнал их. Это была пара, которую я видел два дня тому назад в парке. Хахаль, ранее пытавшийся завладеть сердцем ребенка с помощью игрушечной машинки, теперь соблазнял его мамашу настоящей .

Торговый ряд закончился. Очутившись у памятника Айне Султановой, я удивился, каким образом меня занесло сюда. но... я стоял неподалеку от дома, где жила Мила.

Какая-то сила, вроде управляла мной. Хотя час пик миновал, на перекрестке образовался затор, и машины сигналили наперебой. Асфальтомания нового бойкого градоначальника распространилась и на этот участок, и дорожная техника работала на всю катушку.

Весь нижний этаж девятиэтажки блистал застекленными салонами – дамскими и мужскими. Блондинка с короткой стрижкой тараторила с кем-то по телефону, сопровождая речь то кислой миной, то кокетливой ужимкой.

Вспомнилось наше знакомство с Малахет, то есть Милой.

Она восседала на розовом кожаном диване в вестибюле фотоателье. Из-под черной клетчатой юбки выглядывали белые округлые колени, и она то и дело прикрывала их подолом юбки, и эти демонстративные усилия были рассчитаны на внимание потенциальных ценителей стройных ножек. Я сознательно клюнул на эту незамысловатую женскую удочку и поддался

чарам ее колен. Вообще я могу вторгнуться в любую деталь женского туалета – от шпильки до пуговицы.

Помнится, как в детстве, ожидая возвращения мамы с хлопкового поля, я игрался пуговкой жакетика девчурки, которая была на год младше меня. Я влюбился в ее пуговку – бирюзового цвета, плоскую и скользкую. Позже я осознал, что мое внимание к прекрасному полу уходит корнями в младенчество, то есть с малолетства во мне дремал Дон Жуан, и с той самой девчуркой мы мнили себя мужем и женой, втайне от всех, и старательно имитировали брачный союз, даже из глины вылепили себе маленький домик; я как бы ходил на работу, то есть к соседнему кусту, а она, значит, занималась готовкой, варила в пластмассовом игрушечном котелке воображаемую еду. Случалось, что я «болел», и она, развязав шаль, которой кутала ее мама, повязывала мою голову.

– Голова болит?

– О-о-о... – стонал я, делая плаксивое лицо.

– Джан-джан, – сокрушалась она. – Сейчас я тебе лекарство дам...

Иногда, ускользнув из-под надзора ее матери Гаджиханум, мы удирали в пустынные уголки, бродили рука в руке и даже ложились «спать» в обнимку. Мы по-детски любили друг друга. Увы, я оказался изменником и, пойдя в первый класс, забыл наш младенческий обет. А она вплоть до окончания школы смотрела на меня как на своего суженого, милого, а впоследствии, в один дождливый день, я узнал, что она вышла замуж. Я ничуть не сожалел, даже почувствовал облегчение, подумав о том, что моя измена смыта дождем и ушла в землю сырую. Но судьба впоследствии мне не раз мстила за отступничество, и то, что однажды меня покинула Мила, было в черед этих возмездий.

Черные ухоженные волосы Милы ниспадали ей на плечи, и она о чем-то ворковала с ледащим парнем, сидевшим с ней лицом к лицу, иногда заливаясь звонким смехом. У парня было бледное желтое лицо, явный признак больных почек или легких, плечи вислые, под глазами мешки.

Вероятно, судьба уравнивала его легкую плоть тяжестью выпавшей хворобы... Я почувствовал ревность к этому незнакомому замухрышке. Кажется, моя реакция не ускользнула от ее внимания: она стала смеяться еще залиvistее, Мила была из тех женщин, которые могут осчастливить или обездолить любого мужчину, окрылить или подбить крылья... Словом, могла «поставить на колени» многих самодовольных гордецов.

Я сдал фотопленку парню за прилавком – для проявления. Он окликнул Милу: «Есть тебе работа». Произнесено это было с галантной улыбкой и явным равнодушием, не вызывающим сомнений. Мила неохотно поднялась и, проходя за перегородку, удостоила меня косым взглядом и кислой миной, будто ей показывали безвкусное свадебное платье. И жених, к тому же, постылый.

– Зайдите минут через двадцать-двадцать пять, – небрежно бросила она.

Я не вышел. Остался сидеть, наблюдая, как она на дисплее компьютера выбирает кадры. Она раз-другой покосилась на меня. Выбрав снимки, огорошила вопросом:

– Вы женаты?

Я кивнул.

– А это – ваши дети?

Я снова ответил кивком.

– Вот так всегда. Я опаздываю... – Заерзала.

Собрав волосы в пучок, достала из ящика резинку и перехватила ею волосы. У нее была белая-белая и гладкая шея.

По правде, ее последние слова окатили меня теплой волной. Она и сама почувствовала, что я оттаял. Даже подмигнула мне. И я задержал взгляд на знакомой черной родинке под правым глазом. Я пересел в кресло, где она только что сидела, – оно хранило ее тепло. И сердце мое охватило волнение. Чтобы занять себя, я стал листать старый номер журнала «Космополитен», лежавший на столе. Кто-то из посетителей обвел пером «пикантные» детали



тел манекенщиц, демонстрировавших нижнее белье. Линиям мог позавидовать любой мастер кисти. Перелистывая журнал, я поглядывал на Милу. Отпечатав снимки, она принесла их и молча положила передо мной. Я оплатил указанную в чеке сумму и, открыв темную стеклянную дверь, вышел. Оглянулся, но сквозь хитрое стекло не смог увидеть выражение ее лица.

С той минуты, как пришел из ателье на службу и взялся дописывать незавершенную статью, я забыл о Миле. Воспоминание о белых коленях длилось недолго. И еще я вспомнил об утренней встрече, возвращаясь домой в метро; импульсом послужила клетчатая юбка вошедшей в вагон девушки.

Но наутро я окунулся в будни и устремился в будущую жизнь, начисто позабыв о минувшем.

С Милой мы встретились впервые в канун Нового года в ресторане «Аягюн» на свадьбе.

Оказалось, что невеста – двоюродная сестра Милы. Она была в роли подружки невесты, я – в качестве дружки жениха. Усевшись возле брачной пары, мы приветили друг друга как старые знакомые, обменявшись кивками. Но до конца свадьбы ни словом не перекинулись. Напоследок, привезя новобрачных домой, в прихожей, когда я передавал ей бокал с шампанским, мы на миг вошли в живой контакт, наши руки соприкоснулись, и меня словно пронзило током; Мила уловила мое состояние, зарделась, но тут же приняла невозмутимый вид.

После той свадьбы я несколько раз под разными предлогами захаживал в ее ателье. Я чувствовал, что втюрился. Влюбиться женатому в незамужнюю – дело опасное, двойная игра, точнее, игра если не с Азраилом, то с Фортуной. Я никак не мог совладать с собой.

– Потом будешь каяться, – сказала она, когда я впервые провожал ее домой. И, показав на свое жилище, добавила со смехом: – Если войдешь туда – уже тебе не будет возврата. Ты потеряешь все.

Улыбка у нее была тогда хищная, как у волчицы.

Однокомнатная квартира на третьем этаже скрывала в себе тайны нашего недолгого романа.

Когда я впервые обнял ее, сердце бешено заколотилось. Я, очевидно, побелел лицом, и она рассмеялась:

– Как скоро ты лишился чувств...

Моя физиономия, наверно, напоминала лицо парня из «Андалузского пса» Бюнюэля.

Прелюбодеяние осуждается не только у христиан, но и у мусульман. И во мне жил атавистический суеверный страх. В тот день и даже несколько дней спустя, при очередном свидании я не смог поиметь ее. Она как будто чего-то стеснялась. Наконец, когда, не выдержав моего натиска и настояний, сдалась и прочла изумление на моем лице, сказала: «Я была замужем».

Мы присели на кровать, она прикурила от моей сигареты и поведала:

– Он был подонок... И наркоман. Я сознательно, из неприязни, не хотела иметь от него ребенка и принимала противозачаточное. Несмотря на настояния родителей, отказалась ехать на лечение за рубеж. Хотя тетя жила в Израиле, и там можно было исцелить моего благоверного и порадовать потомством моих бездушных предков.

В упрямстве ее потом я сам убедился.

Когда у нее обнаружилась опухоль в печени, она наотрез отказалась идти к врачу. Отец у нее был человек состоятельный, но богема и гуляка, это и погубило его.

После смерти отца Мила с братом поделили имущество, и ей теперь в наследство от отца осталась только лишь однокомнатная квартира.

– В десятом классе я схватила желтуху, печень пухла, до упора накладывали на опухоль парафин. С тех пор терпеть не могу парафин.

Я разделял ее отвращение, потому что когда лечили мои зубы, этим противным раскаленным горьким веществом натирали корни моих зубов, да еще дантист наказывал, чтобы я держал эту гадость во рту минимум 35-40 минут.

...Нам нравилось Забавляться в постели при лунном свете, и лучи, струившиеся сквозь ветви тополя у окна, были свидетелями наших тайн.

И в ту ночь, когда она спросила «Ты бы женился на мне?» все эти тайны для меня обратились в ничто, и мне показалось, что они стали известны всем. Тут, как назло, обитавший на первом этаже беженец, из турок-месхетинцев, срубил тополь перед нашим окном, и мы лишились зеленого сообщника.

– Но я бросила его ради тебя... – прошептала она в ответ на мое напоминание о своем семейном долге.

Любовь, как и платье, старится с годами, но по прошествии долгих лет становится для нас дорогим, неповторимым, сокровенным достоянием памяти и души.

Наверное, меня влекл к Миле эта наша общая память, тайны, в которые были посвящены только мы вдвоем.

Я заранее «прокручивал» в душе то, что ей скажу, и думал, что получится примерно такой диалог:

– Гадалка сказала, что на нас лежит наговор, джаду, и исходит это от женщины. И она любила и дедушку моего, и меня.

– Дедушку? – усмехнется Мила.

– А что здесь смешного? – растеряюсь я.

– А с каких это пор ты стал к гадалке ходить, просвещенный атеист? И причем тут твой дедушка? Иди-ка ко мне, я сниму все твои стрессы, чтоб ты не молол всякую чепуху... – И она, скинув верхнюю одежду, устремила ко мне и заключила меня в страстные объятия.

Воображая все эти перипетии, я дошел до ее дверей. Постучался, как у нас было условлено. Ни звука. Я еще раз постучал.

Через некоторое время послышались осторожные шаги, кто-то заглянул в глазок.

– Кто там? – хриплый старческий женский голос.

Я сказал, что знакомый Мелает.

– Кто-то Мелает спрашивает, – голос продребезжал в другую сторону.

Шаги. Дверь открыл незнакомый мужчина. У меня захолонуло сердце. Эйфория предчувствия встречи улетучилась. «Какого черта я приперся? Вот так пассаж!» Все оказалось ирреальным, как во сне, и это ощущение подкреплял млечный свет плафона над дверью. Тут бы повернуться и уйти. Но мужчина с остатками волос и прищуренными глазами тарачился на меня. Очевидно, новый жилец, в полосатой пижаме, из-под которой выглядывала майка, а сквозь дыру в майке торчали волосы на брюхе.

– Кого вам надо? – услышав имя Милы: – Здесь такой нет!

– Я знаю, – невпопад промямлил я.

– Нашел место, где шутить!

Дверь захлопнулась у меня перед носом.

Надпись на дверях: «Мирзоева Мелает» еще не сменилась. «Но была...», – договорил я мысленно прерванную фразу, спускаясь по лестнице.

Когда я в последний раз уходил от Милы, она крикнула вдогонку:

– Ты тоже, как все! Подкаблучники! Чем я хуже ваших матрон? Чушка ты этакий! Я услышал за спиной хлопанье дверей, шел, как угорелый, не оглядываясь, покружил у станции метро, потоптался, вошел, понесся по эскалатору, сел в подъехавший состав и очухался, когда увидел себя в пустом вагоне и услышал смех дежурного – и оказался в «Депо».

Теперь, проходя под балконом, я услышал сверху:

– Гардашоглу<sup>1</sup>!

Вскинул голову: это был тот самый мужчина в пижаме.

– Ваше имя?

Я подтвердил.

– И он бросил мне сверху сверток:

---

<sup>1</sup> Племянник. Здесь – обращение.

– Это, наверно, предназначено вам! – В матерчатой обертке я узнал кусок Милиной ночнушки. – Нашли при уборке. Отправили по адресу, указанному на свертке, но вернули обратно.

Мужчина в пижаме говорил даже как-то виновато-сочувственно.

Я на ходу развернул сверток, и на тротуар посыпались истлевшие лепестки розы, напоминавшие мне школьные амурные послания.

Конверт с посиневшими краями с моим адресом оказался распечатанным. Наверно, новые жильцы постарались – из любопытства. Три тетрадных листка в клетку пахли (все еще!) парфюмом «Клема». Я прочитал письмо так же на ходу и не заметил, как дошел до общежития. Крупные буквы, аккуратный почерк, правда, без абзацев и прочих графических ухищрений...

Содержание суждений Милы удивило меня своей пронизательностью и открыли невесомые и невидимые для меня грани ее внутреннего существа. Письмо начиналось без обычного приветствия, обращения, то ли Мила давала понять мне свою обиду, а может, торопилась и решила обойтись без английских церемоний.

### **Письмо Милы**

«Надеюсь, что это письмо когда-нибудь дойдет до тебя. И ты не рассердишься на меня за то, что утаила от тебя некоторые истины. Если даже и рассердишься, мое отсутствие в жизни смягчит твое сердце. Ты помнишь, наверно, нашу первую встречу. Моросил дождь, и у нас не было зонтика. Ты снял пиджак и накинул его на голову. Дошли до моего дома, я глянула: ты был похож на котенка, вынутого из воды. За это сравнение ты надулся, как дитя. Тогда-то я впервые ощутила прилив нежности к тебе. Ты так ликовал, провожая меня в первый раз, и не ведал, что эта радость принесет нам обоим беду. Я же предчувствовала ее, потому что необъяснимая, неизъяснимая радость часто завершается несчастьем.

И оно случилось – когда ты впервые переступил порог моего дома и ... лег в мою постель. Но об этом позже.

На первых порах на нашу с тобой любовь я смотрела как на очередную игру. Но твоя любовь и верность чувству заставили меня изменить правила игры. Я стала относиться к тебе уже не как к очередной жертве страсти, а как к дорогому, любящему меня человеку. Увы, я не могла полностью отрешиться от привычной игры и продолжала обманывать тебя. Ты прав, я не из тех женщин, которые окрыляют мужчин, напротив, я подрезаю им крылышки. До тех пор, пока у нас не было близости, я придумывала всякие отговорки и водила тебя за нос. Находясь в постели с другим, я не отвечала на твои долгие телефонные звонки, а после сочиняла, что была на тренировке, или у тети, или на даче теткой. А порой ссылалась на настроение, на то, что свет опостылел, даже пускала слезу... Не сердись, но я позволяла себе и забавить моих гостей твоими телефонными поэтическими излияниями, и они надрывали животы от смеха... А бывало, замечала вымученную сухость и сдержанность в твоём тоне, и, задетая, спешила закруглиться и дать отбой. Да, из песни слова не выкинешь. Я была мастерицей плести кружева и водить за нос... Но постепенно все менялось вопреки моей воле, и настала пора, когда я осознала, что люблю тебя и не могу без тебя, и с того дня началась наша трагедия. Женская любовь, наверно, начинается с жалости. Когда ты в очередной раз, получив отказ, стал спускаться по лестнице, тебя было не узнать, тащился по-стариковски, согнулся, вроде ноги не шли. Какая-то сила влекла тебя назад, не отпускала. Мне захотелось вернуть тебя. И потому, когда ты проходил под балконом, я окликнула, поманила пальцем. Ты обрадовался, как дитя, кинулся назад, впился в мои губы, как пиявка... С того дня долго я боролась с собой, пыталась вырвать тебя из сердца, грубо говоря, отшить, потому что не хотела, чтобы любящего меня человека засосало в трясину. Я давно погрязла в этой трясине, и при мысли о том, что любима чистой душой, радовалась, и это было моим единственным утешением, отдушиной... Но когда этот

чистый человек стал посвящен в подноготную моей жизни, все потеряло для меня смысл, все пошло прахом. Мне запомнилась фраза из какого-то фильма: «Любовь – это не то, чтобы ты спал с любимым человеком под одной крышей, любовь – это думать о том, что где-то есть любящий тебя человек и черпать в этом утешение». Но моя борьба оказалась тщетной. Тому причина также и твоя безмерная страстность. Стоило тебе поцеловать меня – и я теряла голову. Хочу сделать тебе признание: я – шлюха, да, шлюха! Я это говорю, чтоб ты не был обо мне высокого мнения. Впрочем, и так знаю, что прежние твои восторги сошли на нет. Ты же на первых порах обожеествлял меня. Я была «очень умной и прекрасной женщиной», помнишь? Допишу потом...

А я смеялась над твоей наивностью.

Хочу сказать тебе еще важную вещь... В дверь стучат».

\* \* \*

И все. Видно, потом Мила так и не удосужилась дописать письмо. Или забыла о нем? Нет, это маловероятно. Ведь вложила в конверт, адрес написала... Почему же не отправила?

Я вновь перечитал письмо. Вдруг мне показалось, что с Милой что-то стряслось. Убили? Погибла?.. Через месяц я совершенно случайно узнал о ее смерти из старой газеты. И эта вырезка из газеты до сих пор лежит в моих бумагах. Мила исчезла вдруг, как в воду канула. Ее тело нашли потом, в Говсанах, у моря. Труп был тронут начавшимся разложением. Я узнал ее на снимке по родинке. И по застывшей жуткой улыбке. Она на последнем вздохе смеялась в лицо смерти! Она и при жизни равно иронически относилась и к безмятежному счастью, и к роковому концу. Ирония была ее образом жизни, формой существования. Но никто не видел, где и кто ее хоронил. Может, на снимке была и не Мила.

Но, во всяком случае, она уже для всех умерла.

Я вспомнил ее холодное обращение со мной в последние дни. Мне показалось, что все написанное в письме – блеф, пыль в глаза. Я еще несколько раз засекал ее с каким-то смуглым парнем, возившим ее на работу и привозившим домой в черном «Мерседесе». Запомнил номер: «ККК 784». Я спрашивал о моторизованном ухажере, она отвечала со смехом: «Или ты ревнуешь? Но это тебя не касается, ты же не муж мне. Да тебя и супругом путным не назовешь. Дома вешаешь лапшу на уши жене, а сам тут...». Она не договорила.

Для меня ее связь с «мерседес»ным парнем была несомненна.

...Вдруг у меня запершило в горле, захотелось плакать.

Погодя я стоял на проспекте Азербайджан и искал в потоке машин тот самый черный «Мерседес», мне казалось, что он должен проехать именно через эту магистраль; я надеялся переговорить с тем самым молодым человеком, он-то должен знать о местонахождении Милы, но при всем том я понимал, что ищу иголку в стоге сена. С Приморского бульвара доносился веселый смех школьников, готовящихся к выпускному вечеру; из летнего детского театра репродукторы приглашали юных зрителей на новые спектакли.

Я простоял допоздна, провожая взглядом машины; было прохладно, я озяб, продрог и даже рассердился на себя за утопическую затею. Мне бы следовало подумать о других вещах. Неожиданно в потоке машин я заметил черный «Мерседес», он завернул за угол и въехал в ворота. Я кинулся следом, успев заметить рядом с водителем чернявую девушку с короткой прической; в черной дубленке.

– Мила! – крикнул я. Дама не обратила на меня никакого внимания, выходя из машины. Парень вышел за ней и, закрывая дверцу, перехватил мой взгляд.

– Кто вам нужен? – спросил он.

Я не отозвался. Девушка обернулась. Сквозь очки на меня уставились незнакомые изумленные глаза.



– Что тебе нужно? – Голос прозвучал уже явно угрожающе.

– Эта машина была у одного парня... – промямлил я. – Ищу его.

– Какого-такого парня?

– Имя запомнил.

– Эта машина всегда принадлежала мне! – И, взяв очкастую спутницу под руку, он удалился.

Поднимаясь по скрипучим дощатым ступеням на второй этаж, они напоследок оглянулись, и очкастая покрутила пальцем у виска.

...Мне пришло в голову сходить на место старой работы Милы, на пересечении улицы 28 Мая и проспекта «Азадлыг».

В ателье все тот же ледащий парень, когда-то флиртовавший с Милой, теперь точил лясы с другой барышней. Мое появление он демонстративно игнорировал, видно, еще не остудил свою ревнивую злобу. Заговаривать с ним было бесполезно, и я обратился к работнице, сменившей Милу.

– Вам что-нибудь нужно?

– Я ищу Милу.

Губы ее скривились в горькой усмешке.

– Что здесь смешного?

– Смешного ничего, – отозвалась она, выпрастывая фотопленку. – Плачевно все... Мила два года как умерла.

Я похолодел. Она произнесла «умерла» так уверенно, что никаких сомнений не оставалось.

– А... тот парень... который возил ее в черном «Мерседесе»...

– Вы о Кара? Так его еще до смерти Милы арестовали. «Мерседес» оказался краденым. Бедная Мила... Она и позарилась на его проклятую «тачку»! – Снова горькая усмешка. – Сейчас он где-то здесь ошивается...

– Где? Где я могу его найти?

– Загляните в кафе-бары на «28 Мая». Я его иногда там вижу, проходя мимо. Вам трудно будет узнать его. Спился. Алкаш алкашом. На нем драная

серая куртка. Иногда он и сюда приходит, пялится сквозь витрину, как полоумный.

Через два дня я нашел его не в указанных заведениях, а подальше, в подвале-кафе у станции метро «Сахил», в обществе такого же забулдыги. Кара я узнал с трудом. Драная, рваная куртка с замызганными рукавами. Пустые рюмки, початая бутылка пива. Видно, крепко поддали.

– Можно вас на минутку?

– Можно, почему нет, – язык у него заплетался.

– Только наедине, если позволите. Дело касается только нас двоих.

Его собутыльник, насупившись, пересел за соседний столик.

– Я о Миле хочу спросить.

– Миле?

– Да.

– Мила умерла.

– Знаю... Но мне сдается, не своей смертью. Ее убили. Может, похитили и потом...

– Я не в курсе. Узнал об этом в тюрьме.

– А все-таки... может, краешком уха что-то слышал...

– Мне кажется, это дело их рук, – он кивнул головой куда-то в пространство. – И меня сдали они! Все у меня отняли! Дом, машину, имущество...

– А говорят, что машина была краденой.

– Кто говорит брешет! – глотнул пива. – Брехня! А теперь меня улецают, мол, дадим тебе хорошую работенку. Шиш от них получишь. Они только хапать умеют!

– Но этого дела так нельзя оставлять.

– Согласен. Но как? Мы же Аллаху не сваты-братья, чтобы вступить с ними в войну. Их – тьма, а нас – мало.

– Но ведь Мила... – я пытался подавить гнев. Меня бесила его безучастность.

– Бессмысленно. Ее нет. Никто нигде ее не видел. Я поверил в ее смерть.

– А я – нет! – Я поднялся.

– Что ты нашел в этой шлюхе? – он ухватил меня за рукав. Я вырвал руку и, не помня себя, влепил ему пощечину. Он не ожидал такого. Событыльник за соседним столом не сообразил, что произошло. И подал голос:

– Браток, мы вернем долг днями... с лихвой.

– Посмотрим! – крикнул мне вдогонку Кара.

Когда я переходил улицу, меня чуть не сбила машина. Напротив на тротуаре стояла скрючившаяся старуха в черной шали, и мне почудилось, что это та самая гадалка, и даже привиделось, что погрозила мне пальцем. Но внезапно она исчезла.

### Проклятие

Убив Селима и чуть не задушив Сальминаз, Махмуд-бей повернул обратно той же дорогой.

Погода нахмурилась. Луна спряталась за тучами, будто из опасения попасть в соучастницы преступления.

Откуда-то доносился плачущий голос птицы «Иса-Муса», о которой в народе ходила легенда.

Два брата-бедняка потеряли хозяйскую корову и со страха превратились в птиц. И были обречены всю жизнь оплакивать свою участь, вопрошая друг друга: «Нашел?» – «Нет!» Так и будут перекликаться по ночам, как бы желая удостовериться в существовании друг друга и надеясь все еще найти пропажу.. И ни тому, ни другому не суждено найти пропажу... И не суждено было видеть смерть родного существа...

Сцена убийства Селима будет преследовать Махмуд-бея, как знак проклятия, и теперь, в последний раз остановившись на гребне обрыва и вспоминая давнее смертоубийство, он ощутил на своих неслабых плечах всю тяжесть этой неумолимой памяти. Словно эта тяжесть была вознесшимся в небеса и вновь и вновь обрушивающимся на него проклятием Сальминаз. Ее истошный сучий вой все время стоял в ушах, и этот вой был зловещее и противнее волчьего и собачьего воя... «Чтоб ты остался без врагов!» По старинным понятиям, это было величайшим проклятием для мужчины.

Из предосторожности Махмуд-бей до утра не сомкнул глаз. И его дядя вместе с ним бодрствовал всю ночь напролет. А своих людей выставили караульщиками на улице, но чтобы те не заподозрили ничего о случившемся, сослались на то, что в этой округе объявился волк и, неровен час, может напасть на скотину. Женщины и челядь нельзя было посвящать в такие опасные дела, – бабий язык без костей, а челядь любит подачки, бабы проболтались бы, а слуги выдали бы за милую душу ради живота своего.

Люди Бахрам-аги узнали об этом событии спустя четыре дня.

Когда сын чабана Мамиша нес Салим-беку «агарты» – молочные продукты и мясо, на него напала какая-то чужая собака и искусала в кровь. Собака может взбеситься от смердящего человеческого мяса, – как говорится, ей и хочется, и колется, вот она и бесится от злости. Чабаны, проходившие по дороге, насилу вырвали парнишку от взбесившейся собаки. Эта самая псина, между прочим, задушила и немощного, одряхлевшего Султана.

Сальминаз с того страшного дня как в воду канула. Ни слуху, ни духу. Подумали, что не вынесла этого позорища и горя, утопилась в Араксе.

Услышав о происшедшем, Бахрам-ага сразу заключил: «Это дело рук Махмуда. Пес Султан только одного его не трогал».

Через два дня Бахрам-ага умер от разрыва сердца. Все, было, решили, что на этом кровная вражда закончилась. Но не тут-то было. Вечером того же дня младший брат Бахрам-аги Гарахан передал через людей Махмуд-беку,

что впредь они смертные враги до скончания века. Да, шила в мешке не утаишь. Это хорошо понимали и Махмуд-бек, и его дядя Фархад. Они и не пытались спрятать концы в воду, ибо первой «перчатку бросила» другая сторона.

Гарахан был гачагом при царской власти. Хотя с Махмудом оба росли с детства вместе, они были не в ладах друг с другом. Враждой это не назовешь, по сути это были мальчишеские свары. Махмуд батрачил у Бахрам-аги. Ради куска хлеба и обносков он день-деньской пас господских верблюдов. Все время мечтал наесться досыта и одеться по-людски. При всем том никогда он не таил обиды на Бахрам-агу, потому что сызмала привык видеть его властный призор. В каком-то смысле прикипел сердцем к нему, как к человеку, заменившему отца.

Однажды Махмуд, еще мальчишкой, пас верблюдов в распадке «гобу», к вечеру подустал от хождения, сел верхом на верблюда по кличке Ахджа. Было холодно. А сиротки, известное дело, не морозостойкие. Он озяб настолько, что, время от времени спешившись, грел окоченевшие ступни, выглядывавшие из драных чарыхов, опуская их в свежую теплую мочу животного. Да тут еще голод донимал. Гарахан, выбравшийся на кровлю сарая, увидел, что Махмуд сел на хозяйского верблюда. Вообще он проходу не давал Махмуду, лупцевал, где придется и почем зря. Соскочил с кровли. Сел на неоседланного коня и поскакал к пастбищу. Как говорится, сласть в зубах, власть – в руках. И Гарахан это чувствовал, у него просто руки чесались, кого бы поколотить. Махмуд, заметив мчащегося к нему хозяйского сынка, со страху крепче стиснул ясеновую палку в руке.

Гарахан направил гнедого на него, явно намереваясь грудью коня сбить его с ног. Бежать было бессмысленно. Махмуд, отчаянно защищаясь, занес палку и изо всей силы шарахнул гнедого по лбу. Конь вздыбился и скинул седока наземь. Гарахан, не ожидавший такого оборота, вскочил на ноги, ринулся на Махмуда и нарвался на ту же палку... Тщетно пытаясь увернуться от ударов, он скукожился, прикрыв голову вывернутым архалуком, упал,

стал извиваться на земле. Махмуду стало жаль его. Гарахан, держась одной рукой за голову, другой хватаясь за бока, не издавал ни звука, молча снося боль. Видя, что Махмуд перестал охаживать его палкой, Гарахан поднялся на ноги, зыркнул налившимися кровью глазами, вскочил на коня и умчался. В глазах Гарахана сквозила не горечь поражения, а мстительная ирония. Мол, ты еще поплатишься... Махмуд подумал про себя, что теперь ему хана, песенка спета, и стал дожидаться вечера. Но его страхи оказались напрасны. Гарахан не выдал своего обидчика. Дома сказал, что упал с лошади, тем самым отвел неминуемую кару от Махмуда.

С той поры они не виделись. Гарахан уехал в Тифлис учиться в русской гимназии; через несколько лет Махмуд отправился на фронт. Вернувшись с войны, Махмуд узнал неожиданную новость: Гарахан, наводивший страх на всю окрестную голытьбу, теперь подался в гачаги, и молва о нем разошлась далеко – от Зангезура до Евлаха. Успел прослыть наездником несравненным. Его гнедого не обскакать было. Участвовал в ежегодных бегах в Шуше. Хотел даже отправиться в Петербург – потягаться с тамошними наездниками, но Бахрам-ага не пустил. Гарахан вымахал в плечистого удальца-молодца, в копне волос обозначилась белая прядь. В гачаги подался вот почему: грех взял на душу, застрелил казачьего атамана, из тех, что охраняли российско-персидскую границу, – проиграл ему на скачках в дни праздника Новруз; едва сойдя с «проштрафившегося» своего коня, пристрелил его, а вечером строил похищение коня-победителя: «На таком коне должен ездить карабахец». Наутро, при перестрелке на границе он убил атамана и сопровождавших. Его схватили, уехали в Сибирь, но он сбежал из каземата накануне этапирования. Мало того, по пути он успел натворить еще одно непотребство, изнасиловав засидевшуюся в девках дочь Тынтын Туту, тем самым снискав гневное осуждение земляков. Пришлось ему покинуть село. Дочь Туту в ту пору жила у своего отца Нуркиши в кишлаке, то есть на зимовке, и когда ее отец отлучился в село за солью, произошло это событие. Мужчины в селе взбеленились, как же, позор на всю округу, но, чтоб не

предавать делу еще большей огласки, скрепя сердце, помалкивали. Бахрам-ага, отец виновника этого лиходейства, женил своего нукера на потерпевшей, а Нуркиши выстроил каменный дом.

Гарахан прятался где-то в лесах окрест Гей-тепе и Моллалы. Оттуда, со стороны, сталкивавшись с казаками, не подпускал закордонных разбойников, повадившихся ходить в левобережье Аракса..

После убийства Селима Гарахан и Махмуд-бек стали выслеживать друг друга, чтобы свести счеты, предварительно оповестив противника, что не будут трогать родных и близких.

Меня разбудил птичий гомон. Когда жил в селе, узнавал птиц по голосам. А здесь, в городе, даже имена их запомнил.

Ну, первыми, конечно, гвалт подняли воробьи. Чирикали без умолку на своем воробьином языке. Может, радовались восходу солнца и желали друг другу удачного дня. Едва открыл окна, как чириканье прервалось; но, удостоверившись в безвредности открывшего окно человека, воробьи понемногу осмелели и возобновили переключку. Они напоминали драчливую малышню. Крупный черноголовый воробей кинулся на более скромных размеров воробьюху и, демонстрируя свое мужское превосходство, тукнул ее серым клювом, охлестнул крыльями и сбил с ветки. А та, как преданная мусульманская жена, не отстала от супруга и вновь вернулась к нему. Маленькие воробьишки стали выяснять отношения, ощипывая друг другу перышки. Погодя сорвались с веток. Они полетели в соседний сквер. Осенью на их месте я вижу чету горлинок. Они напоминают влюбленную пару. С этими мыслями я закрыл окно и нажал на пульт дистанционного управления телевизора. Перебрал каналы; ни на одном канале программа новостей еще не началась. По АТВ группа «Но ангельс» исполняла песню: «Ай дид нот лав ю невэ»...

Парень в драном пальтишке, пасший овцу, прислонившись к тополи в незаконно заложенном садике, законно ликвидированном исполнительной

властью, созерцал подопечную отару, ищущую траву. Он что-то напевал, но я не различал слов.

Из спальни донеслись крики моих малышей. Опять что-то не поделили. Как пора в школу идти так они, дочь и сын, начинают артачиться. Порой даже кажется, что хождение в школу – это одолжение с их стороны. И учиться должны мы, а не они. Благо, что летние каникулы не за горами, и скоро я отправлю их в село к дедушке и смогу вздохнуть свободно. Но знаю, что на другой же день заскучаю по ним, но только позднее привыкну к одиночеству. Снова взглянул в окно, ища глазами «городского» пастуха в драном пальто. Он уже удалялся со двора, размахивая черной торбой.

Мне вспомнилось, как в детстве чуть свет меня будила мать и посылала пасти скотину. Но мы с этим парнем были поставлены в разные условия.

Проводив детей в школу, я спустился в метро, направляясь на службу. Дороги были перекрыты, и я выбрал другой маршрут, и сам не заметил, как оказался перед офисом земляков из квартала «Кисечилияр». Вскинув голову, увидел на фронтоне шикарного здания пестрый штандарт. У входа блистали иномарки; из-за тесноты машины были выставлены на тротуаре. Среди них я увидел черный «мерс», такой же, как замеченный мной на проспекте Азербайджана. Но это еще ни о чем не говорило. «Теперь они повсюду. Запрудили, заполонили все. Как саранча...». И в памяти вдруг всплыло: как деда моего нашествие саранчи вынудило покинуть родные края и податься в гачаги.

### **Война с саранчой**

Бабушка рассказывала мне об этом не однажды. И, рассказывая, обращала взор к Югу, в закордонную сторону, и прикрывала лицо яшмаком.

– Во-он, – показывала рукой всхолмье «Уч гардаш» у Аракса, – оттуда дед перебирался через реку.



Гачагство деда не было вызвано враждой с Гараханом. Дело было в том, что с южной, иранской стороны частенько совершали разбойные набеги на эту сторону Аракса и уносили, уводили, что попадет под руки. Нередко случалось, что левобережные давали им прикурить, бывало, даже коней у них отнимали. Но правобережные пускались на хитрость: стали нападать, когда мужчины из села уходили на эйлаги.

В ту августовскую ночь Махмуд-бек ночевал на чердаке. Предрассветный сон сладок. Но что-то заставило его проснуться, будто его холодной водой окатили. Вскочил, выглянув, заметил несколько теней, промелькнувших мимо дядиного подворья. Сонливость истаяла. Стремительно спустился вниз, схватил пятизарядную винтовку, побежал к дому дяди...

Их было много, заполонили село. Пытались напустить страх. Фархадкиши пальнул в воздух. Выстрел разогнал тишину. Незваные гости ответили выстрелами с разных сторон.

Тут на улицу выскочили в исподнем парни из дома Мехралы и Абдулалы, подбежал и внук Гара Османа Гусейналы – он был одет-обут. Оказывается, в ту ночь стоял в дозоре, да задремал и проворонил опасность.

– Бери ребят и беги к Араксу! – крикнул Махмуду дядя Фархад. В полумраке дядино лицо выглядело грозно и внушительно, как вытесанное из дерева изваяние. Он намеревался перекрыть путь нападавшим в пойме реки, ибо разбойники успели уже вывести захваченную скотину и гнали ее к Араксу.

Махмуд перемахнул через изгородь двора Сахлиялы, пробежал садом Абдулалы и выбрался на гребень яра над поймой. Южане переправляли верблюдов через реку. С коровами, баранами управиться не могли, но и отпускать не хотели. А вся эта животины, будто учуяв недобрую затею, устремилась назад, к селу. Противостоять разбойникам было невозможно. Они теснили Махмуда с остальными к реке. Сына кузнеца Агамоглана Валеха ранили в ногу. «Подлюги!» – крикнул он и взвыл от боли. Махмуд

рассердился: «Не вой, как баба!» Потом выяснилось, что ранило его не пулей, а острым камнем. Тут стали стрелять со стороны «Дейирман-архы» – арыка, подводившего воду к мельнице. Кто-то бил по разбойникам, которые, дрогнув, бросились врассыпную. Гасан, сын Сахлиялы, сказал, что стреляет Гарахан.

– Я догадался по ржанью коня.

Внезапное появление Гарахана насторожило Махмуда. Может, Гарахан выслеживал его и случайно нарвался на разбойников. Как бы то ни было, это осталось загадкой. Южане оказались раздробленными. Папаха одного из них, зацепившись за сук тутового дерева, так и осталась там висеть. Односельчанами удалось отбить и вернуть ягнят, коров. Одно из животных было ранено; тут же закололи во дворе, освежевали...

Жена Фархада Гюльсум вышла навстречу, засокрушалась: «Верблюдов увели... Как-то вынесет Агджа, оставшись без детеныша...». И укоризненно поглядела на двугорбого лапажу, который не углядел, не отстоял верблюжонка.

Махмуд вновь сел на коня и поскакал к Араксу. Дядя Фархад сидел у реки, угрюмый и расстроенный.

– Сукины сыны! Увели... Не успел я...

Махмуд отправил дядю домой, а сам перешел через Аракс.

Окрест – сплошной туман. Парилась река. Дело – хуже некуда. Разбой был неожиданным ударом. При мысли о том, что эти самые разбойники доводятся ему какой-никакой, а все же родней, становилось совсем тошно. Но судить-рядить было некогда.

Он заподозрил, что к разбою приложили руки, скорее всего, люди из рода «шахсеван», потому двинулся к их селению. Марагалинец Мамед-ага сидел под деревом, дымя чубуком, набитым махоркой. При виде Махмуда сразу поднялся. Почтительно застыли и его вооруженные воины, даже сотники-юзбаши.

Мамед-ага поначалу не понял причины взвинченного состояния гостя и попытался повернуть разговор на шуточный лад:

– Я и раньше говорил, что у такого богатыря сердце может оказаться чувствительным... Ибо что на душе, то и на лице...

Махмуд-беку было не до шуток, но он не хотел отвечать колкостью старому знакомому, просто выложил все, как есть.

Мамед-ага сказал, выдержав паузу:

– Я не знаю об этом деле.

Махмуд-бек показал папаху, снятую с тутового дерева.

Мамед-ага с той же невозмутимостью отозвался:

– Это дело рук «сархангов»<sup>1</sup> – кумовьев ваших «кисечилар»...

Махмуд-бек прикусил палец, смекнув, где собака зарыта. Вспомнил, что в недавней заварушке никто из «кисечилар» не вышел на улицу и не всполошился...

Род «шахсеванов» состоял в добрых отношениях с дедом Махмуда – Алы Катда<sup>2</sup>, хлеб-соль делили.

Узнав, что угнанные верблюды принадлежат Махмуду, стали успокаивать его.

– Я пошлю ребят, – сказал Мамед-ага. – Всех вернут. Если успели заколоть какую-то животину – взамен другую дадут. – Помолчав, добавил: – А нет – силой заставим, и не одну, а пару.

Махмуд-бек знал нрав Мамед-аги. Встарь, еще мальчиком, ему довелось ездить в Хорасан. По какому случаю, запомнил; возвращались с Мамед-агой, тогда еще молодым парнем, он был сарбаном – провожатым каравана. По дороге они столкнулись с нападшими «сархангами», и Мамед-ага дал им достойный отпор, да еще отбил у них пару лошадей и отнял пятизарядную винтовку.

<sup>1</sup> Сарханг – чин полковника в иранской армии; здесь – название общины, клана, связанного с воинской службой; приблизительный русский аналог – «служивый».

<sup>2</sup> Катда (от «кәндхуда») – староста села.

Мамед-ага сдержал слово. И в ту же ночь шахсеванцы забрали угнанных животных и, приведя к Араксу, сдали Махмуд-беку. На заре он переправился через реку и, дойдя до дому, не застал Саялы. С этого все и началось.

– Всех увели на истребление саранчи, – виновато сообщил дядя Фархад, дымивший чубуком на приступке у дверей. – И этот хохол был из тех распорядителей, а внук Амира – провожатым... – Фархад-киши не мог скрыть досады. Он имел в виду главу и старосту Сары из махаллы «Кисечилер». Так был расстроен, что и радости не выказал никакой при виде возвращенных верблюдов.

– Животину поручи слугам, пусть отведут в сарай... Все из-за них и произошло. Окажись ты дома – они бы не посмели тут приказывать, командовать. – После паузы добавил, тяжело поднимаясь: – Похоже, постарел я, ноги не слушаются... – После смерти сына Фархад-киши сильно сдал. Махмуд пытался было помочь дяде, но тот не пустил: – Я сам. – Усмехнулся: – Ты уж не мни меня таким дохляком. Одного из них я ухлопал, в крови, с криком нес ноги... – Показал на пятна крови на изгороди. Махмуд-бек спрятал улыбку: дядя по ошибке пальнул по своим, а раненым был сын кузнеца Агамоглана.

Оставив верблюдов у ворот, Махмуд вскочил в седло и поскакал к Гейтепе.

– Ты побереги себя, от них всего можно ожидать! – крикнул вдогонку Фархад-киши.

\* \* \*

Пришла беда – отворяй ворота. Черные дни усугубило нашествие саранчи. Их тучи заполнили посевы, пастбища. Люди, застигнутые врасплох, не знали, что делать, как быть с полчищами. Против этого нашествия ружья, прочее были бесполезны. Люди ведь готовились всегда

сражаться против людей, а не против какой-то голенастой летучей мелюзги. Но теперь саранча была страшнее зялятого врага. Она посягала на хлеб – основу жизни.

В те времена это бедствие воспринималось как Божье наказание. Все от мала до велика включались в бой, с этими маленькими хищниками. Чтобы бить саранчу, вооружались прутьями, вязали их пучками, а когда их не хватало, жгли нивы и покосы. За короткий срок целые участки запылали огнем. Сгорающая саранча издавала отвратительный запах. Стоило сжечь одно полчище, как появлялось другое. Тучи саранчи застили солнце..

Когда Махмуд-бек доехал до Гей-тепе, солнце уже поднялось. Женщины, дети возились под жаркими лучами, истекая потом. Староста Сары стоял над ними, как надзиратель. Саялы-арвад вместе с другими женщинами и детьми, согнувшись, задыхалась от жары, била, хлестала саранчу. Махмуд-беку показалось, что Сары следит за нагибающимися и выпрямляющимися женщинами дурными глазами и ухмыляется от удовольствия. Подъехав к нему, Махмуд-бек хлестнул негодника плеткой. Сары покачнулся. Все окрест обомлели. Потом пошло шушуканье. Сары, ухватившись за голову, застыл, как пригвожденный. У него на голове проступила кровь. Махмуд-бек забрал жену и препроводил на коне до дому. Сары, утирая рукой сочащуюся кровь, крикнул вдогонку: «Все знают, это ты убил Селим-агу!» Но Махмуд-бек не обратил на его слова никакого внимания, будто и не слышал их.

За всю дорогу Саялы ни разу не посмела поднять голову и оглянуться на мужа.

Вернувшись домой, он хотел было прилечь на тахте под тутовым деревом, но до лежанки не дотянул. То, что Саялы увели со всеми на истребление саранчи, задело его за живое. Не зря же он кровь проливал на фронте. За это получил от царских властей особую привилегию, ему всецело передали во владение урочище Гей-дере, а он не взял ни пяди, чтобы не обделять и не ущемлять односельчан. Ведь та земля ежегодно засеивалась под

хлеба. Все это – одна сторона дела. Его глодало то, что Саялы, хозяйка дома, мать его детей, последовала по чьей-то указке в поле, да еще возилась с проклятой саранчой под маслеными глазами этого паскуды... Мальчики должны расти мужчинами. Замужней женщине вообще негоже перед кем-то гнуться-выпрямляться. С другой стороны, Саялы сама не должна была покидать дом, ибо ни на кого нельзя полагаться в этом взбаламученном мире... Ее могли в любой момент умыкнуть по злему умыслу, из чувства мести. Махмуд подумал, что Саялы, возможно, «выманили» из дома по указке Гарахана и его людей. Надо было все это выяснить. Но сперва – свести счеты с теми, кто вздумал ослабить его.

До вечера он убивал время в саду. Дядя, Фархад-киши, не решился сказать ему ни слова.

Уходя из дому, Махмуд сказал дяде: если он в этот вечер не вернется, пусть тот оберегает дом и велит слугам никому не открывать дверь. А если нагрянут лихие люди – биться до последней капли крови.

– А за меня не тревожься, – добавил он напоследок. – Они и к моему трупу не посмеют подступиться... Пока я жив – никто не подберется к моему очагу...

С тем и уехал в урочище Маралян. Там, в здании почты сидел глава местной власти. В это время в комнате главы пиновала компания с участием старосты и еще четверых службистов. Комната была украшена портретами самодержцев, а на одной из стен, поверх карабахского ковра, красовалось фото августейшей семьи Николая Второго. Свет тридцатилинейной лампы обозначал набрякшие лица, осоловелые глаза сотрапезников.

Махмуд-бек поначалу тихонько обрезал хвосты их лошадей, стоявших на привязи, – это, по местным понятиям, означало нечто вроде посягательства на честь хозяев. Привязав своего коня к вишне у окна, вошел в помещение. Еще не переступив порог, услышал обрывки разговора, где склоняли с непотребными эпитетами имени Гарахана и его. Махмуда; само по себе было недостойно мужчины заглазно перемывать кому-то косточки.

При виде неожиданного пришельца у Сары глаза на лоб полезли. Глава же был под шафе и не осознавал, что происходит. Все произошло в мгновение ока. Махмуд не дал им опомниться... Прогремели выстрелы... Всадил в каждого по пуле. «Басурмане чертовы!» – прохрипел глава, сползая со стула на пол. Эти слова были памятны Махмуду еще с войны.

Выходит, еще грех взял на душу.

На войне было, что убивал. Но то – война, там это было в порядке вещей. А тут – нет. Тут убийство было убийством. Махмуд-бек это прекрасно понимал. Назад, домой, ему пути были заказаны, потому помчался на коне к Араксу. Вода взбаламученная – от ливней, шедших наверху, в горисских горах. Когда перебирался через поток, у Мерджана поскользнулась нога, и их чуть было не снесла стихия. Он соскочил с коня, взял под уздцы и направил к стрежню.

Насилу выбрались.

Парни по ту сторону из рода «шахсеванских». Будто ждали его. Приветили радостно.

Марагалинец Мамед-ага, по обыкновению дымя чубуком. Удовлетворенно и лукаво прищурил глаза:

– Наконец-таки! Я знал, что переберешься... Такие, как ты, подолгу на одном месте не засиживаются...

Но Махмуд-беку и по ту сторону нельзя было рассчитывать на спокойную жизнь, потому что дед его, Алы Катда – староста Алы, был из здешнего села Асландюз, которое покинул из-за кровной вражды. Причину этой вендетты никто толком не знал. Как бы то ни было, Махмуд-беку и здесь надлежало смотреть в оба.

Одно хорошо, что шахсеванские от мала до велика были при оружии, и сюда, в эти края, посторонние лихие люди не могли сунуться. А гостю честь и место. Шахсеванские расселились по всему приречью Аракса, и их нельзя было представить безоружными. Они считались неофициальной ударной силой персидского шаха.

Мамед-ага знал, что Махмуд-бек некогда сражался в армии русского царя, и не сомневался в его ратной доблести. Но игит везде остается игитом, и обращение с ним должно быть подобающее. Мамед-ага хорошо усвоил эту заповедь. Некоторое время он держал Махмуда при себе, обходя своих боевиков и знакомя с обстановкой, а когда убедился в достаточной подготовке своего подопечного, то назначил его юзбаши, то есть сотником. Дела, которыми они занимались, по строгому счету, не всегда были благовидными или, по нынешним понятиям, вовсе недопустимыми. Речь идет о набегах в приграничные села сопредельных стран. Ранее дотягивались и до Карабаха, но с появлением Махмуд-бека набеги туда прекратились. Он на первых порах неохотно ввязывался в набеги на турецкое приграничье; однажды он напрямик сказал Мамед-аге:

– Как-никак, они такие же мусульмане, как мы...

– Да. Но они сунниты...

– И говорят на одном языке с нами...

– Так-то оно так, – согласился Мамед-ага, – но и они нападают на нас...

– А нельзя ли положить конец этим передрягам?

– Нельзя. Ибо, стоит нам оставить оружие, погибнем. Мужчина должен быть в седле... И не бояться крови...

На том разговор и закончился.

Живя на Юге, он смог лишь несколько раз, и то тайком, наведаться в свое село. В один из этих наездов Саялы понесла от него будущего сына – Гусейна.

Судьба же не собиралась прекратить войну с родом Махмуда.

Однажды разнеслась весть, что сгорела усадьба Бахрам-аги. Обгорелый труп его нукера Севдималы нашли на конюшне. Эта беда подлила масла в огонь застарелой вражды. И, хотя к случившемуся Махмуд не был причастен, Гарахан усмотрел в этом его руку, и люди Гарахана спалили дотла новоотстроенный дом Фархада-киши в Гей-дере. Мало того, на покосе зарезали внучатого племянника Махмуда –



Сафархана. Беды всем этим не исчерпывались. В соседних селах активизировались армяне. Они все чаще нападали на приречье Аракса, жгли села, учиняли погромы. Нельзя было бездействовать. И однажды ни свет ни заря Махмуд-бек перешел через Аракс.

Фархад-киши встретил его со словами:

– Чуюло мое сердце, что придешь.

Оба знали, что надо предпринять.

– Гарахана видели на нашем эйлаге, в урочище Базар-дюзю... в Сисянском уезде<sup>1</sup>... – сообщил дядя, прикуривая чубук от огня.

Еще не закончилась «кичик чилле»<sup>2</sup>. До перекочевки на эйлаги еще далеко. Гарахан обретался там. Видимо, для того, чтобы замести следы.

– Надо спешить. Нас могут загнать в кольцо...

В ту же ночь Махмуд-бек отправился в Сисян. Никто не знал о его визите к дяде. На следующий день к полудню он был в Сисяне. По дороге чудом избежал смертной беды. В густых горисских лесах, в окрестностях села Эйвазлылар его обступила стая волков, готовясь напасть на коня. Мерджан несся во весь опор. Не будь Махмуд сведущ в этой местности, не миновать был беды. Матерая волчица, забежав вперед, ощерила пасть и, повернувшись, стала задними лапами взметать снег, норовя запорошить глаза коню. Волчица словно пустилась в пляс... Конь встал на дыбы, впервые забыв о седоке, – казалось, пытался скинуть его. Волчице удалось сбить коня с пути. Махмуд вскинул ружье, пытался нажать на курок, но окоченевшие пальцы не слушались. Тут, как по воле Провидения, откуда ни возьмись, собака. Похоже, волкодав. Собака сцепилась с хищниками. Наконец, прогремел выстрел. Волки отстали. А гнедой поуспокоился – выстрел придал ему уверенности.

<sup>1</sup> От фамилии князя П.Д.Цицианова.

<sup>2</sup> «Кичик чилле» – «малое чилле» – последние двенадцать дней зимы.

Добравшись до эйлага «Базар-дюзю», он понял, что весь этот путь проделал напрасно. Гарахана здесь не было. В Сисяне надежные люди сообщили, что видели его в Гарабгларе, у Кербелаи Исмаила.

У того самого Кербелаи Исмаила, которого прекрасно изобразил покойный Фарман Керимзаде в «Снежном перевале». Благородный Кербелаи чтит достойных врагов. Эмигрируя с приходом Советов в Турцию, он не смог переправить за кордон свою сноху, которая была на сносях, и привел ее в дом к своему заклятому врагу Шахабоглу; тот не поверил глазам своим, увидев неожиданного гостя. «Шахабоглу! – сказал Кербелаи Исмаил. – Я долго судил-рядил, но надежнее тебя человека в этой округе не нашел». И оставляет сноху аманатом у него. Шахабоглу предупреждает своих: хоть волос с ее головы упадет – всех покараю. Сноха родила мальчика, кто-то из ребятни сообщает новость Шахабоглу, тот одаряет деньгами вестника – дает муштулуг<sup>1</sup> со словами: «Еще одним врагом прибавилось у меня». Впоследствии Шахабоглу переправляет сноху с внуком... Такая вот вражда...

Приезд Махмуда в Гарабглар также ничего не дал. Кербелаи встретил-приветил его честь по чести. Сказал, что Гарахан уехал, а Сария днями раньше. Переночевав у радушного хозяина, Махмуд попутно наведился в Лачин. Кербелаи посоветовал ему, что было бы во благо повидаться с отважным Султан-беком, защищавшим народ от посягательств распоясавшихся армян.

Сам Махмуд просил Кербелаи передать Гарахану, что непричастен к поджогу усадьбы Бахрам-аги. В Лачине он узнал, что Султан-бек на позициях в околотке Арикли. Задерживаться здесь было небезопасно – власти могли напасть на его след, может быть, уже и пронюхали. Кроме того, люди Султан-бека не видели особой необходимости в его пребывании здесь еще и потому, что угроза нападения армян уже миновала.

---

<sup>1</sup> Муштулуг – магарыч, награда за добрую весть.

Махмуд-бек поначалу собирался перейти через Аракс за кордон по старинному Худаферинскому мосту, но, узнав, что мост денно-нощно охраняется усиленным казачьим постом, отказался от этого намерения и перебрался через Аракс засветло на зангиланском участке.

Он предполагал, что по ту сторону, с благословения Мамед-аги, сколотит ополчение и вернется обратно, ибо в одиночку противостоять армянским боевикам и действовавшим с ними заодно казахам было невозможно.

...В это время в дверь мою постучали и, не дожидаясь приглашения, вошел мой сосед.

### **Память – тень человека**

– Вас к телефону, – проговорил он с кислой миной.

Я услышал голос жены:

– Тебя ищут на работе. Уже сколько дней подряд названивают. Да еще какая-то Мила тебя спрашивала...

Я смешался было, но выкрутился:

– А... наверно, журналистка... хотела что-то спросить...

– Я вижу, ты нарасхват... как источник информации...

Я представил ее усмешку, что-то пробормотал и повесил трубку. Впрочем, она опередила меня.

Едва вошел в редакцию, мне говорят, мол, тебя ищут люди из махаллы «Кисечиляр», и добавили, что они хотят подать на меня в суд «за оскорбление чести и достоинства». Сперва я не понял, о ком идет речь. Потом выяснилось, что судом меня страшит внук Алы – Сары. В минувшую неделю он участвовал в телепередаче «Память». Он поведал о том, что потерял память после потасовки в каком-то баре, получив удар по голове. Врачи усердно старались восстановить ему память и почти добились успеха, но он сам прервал лечение и не захотел реабилитации. Объяснял он свое

решение тем, что с постепенным восстановлением памяти он стал не в меру сердобольным и помогал всем просителям денег и чуть не разорился до нитки...

Это его выступление «завело» меня. Я решил написать статью об амнезии. Сходил в библиотеку, покопался в литературе, почитал о причинах потери памяти и путях ее восстановления. Но не встретил ни единого суждения и упоминания о путях проникновения в генетическую память.

Перелистал труды различных специалистов – от Уайта Симпсона до Агабека Султанова, но интересующей меня информации не нашел. Ученых преимущественно интересовала индивидуальная память. Генетическая память вроде никого не занимает. Я написал статью, где высказал свои соображения на этот счет. Привел и цитаты из телевыступления Сары-муаллима. «Отмахивание» людей такого пошиба от генетической памяти я связывал с нежеланием вспоминать черные дни прошлого, и тем самым, вольно или невольно, с культивированием или насаждением исторического беспамятства, воспитанием исторического благодушия и забвения горьких уроков минувшего у молодого поколения. Память о прошлом – урок на будущее, условные движения вперед. Я упомянул и о чайках полынных полей.

В своих суждениях я не видел ничего зазорного, предосудительного.

Потому «судебные» угрозы Сары-муаллима задели меня за живое. По предложению занервничавшего редактора я, скрипя сердце, написал «поправку». «Фразу (в такой-то статье) Сары-муаллим боится восстановления своей памяти» надо читать: «...не боится...» и далее по тексту...».

Вопрос был исчерпан.

Я же продолжал копошиться в прошлом.

Попутно делал заметки: «Человек без памяти вроде декоративного цветка». «Если памятники – эхо истории», то «память – тень человека», «исчезновение памяти – смерть души» и т.д.

Окончив редакционные дела, я отправился в общежитие. Водитель маршрутки в попутном разговоре сказал, что опять приезжают представители Минской группы ОБСЕ. Кто-то бросил реплику: «Слетаются, как мухи на мед... Их заботит не столько карабахская проблема, сколько как бы не ляпнуть лишнего...». Другой подал голос: «Кто не справляется с ловкачами из махаллы «Кисечиляр», вряд ли управится с саркисами». Оглянувшись, я увидел автора силлогизма Башира К., как обычно, обвязавшего голову черной траурной косынкой. Недавно ночная полиция, намекая на косынку, подкузьмила ему. Он подал на стражей порядка в суд, , прижатые к стенке «шутники» были вынуждены извиниться перед поэтом.

Имя «Саркис» напомнило мне о шапошнике-армянине из махаллы «Кисечиляр». Я застал его уже стариком. Мы, малышня, забрасывали его камушками, «заводили»: «Откуда идешь, ай Саркис?» «Из Багдада». «А где же хурма?» «Ворона унесла». Старожилы вспоминали песенку, что напевал Саркис: «Папах ваш, а мой баш, чарык твой, нога – мой»<sup>1</sup>... А, бывало, балагурил не без ехидства: «Кирвэ<sup>2</sup>, клянусь, мусульманам папахи шью не я, а шайтан... Сам не знаю, как так получается...»

### **Я, дед, «урус-булагы»**

Вскоре после перехода за Аракс Махмуд-беку довелось побывать в Тебризе, где его удивило, что все женщины ходили в черной чадре, из-под которой выглядывали только носки башмаков.

Даже в Асландюзе он не встречал столько «черноризниц». И у себя в родном селе не было таких аскетических строгостей. Сельчанки обычно носили белую шаль и лишь прикрывали нижнюю часть лица яшмаком, а у себя дома, на подворье, обходились и без этого. Его поразило и множество мечетей в городе. В его родных сельских краях на всю округу была одна

<sup>1</sup> Баш – голова, чарык – обувь из сыромятной кожи.

<sup>2</sup> Кирвэ – кум.

мечеть – в Карахулу. После смерти ахунда, иранца Мамеда Саила, этот дом Аллаха был забыт, и на дверях висел большой замок. Вероятно, холера, нагрянувшая в эти края, отвратила людей от богослужения. В отличие от земляков, здесь люди приносили назир – обетованные дары – не на святилища-пиры, а вручали моллам в серебристо-белых одеждах. У Махмуд-бека в селе, в случае кончины человека, на отпевание приглашали моллу из отдаленного села Челеби. Люди, хоть и позабыли о хождении в мечеть, но сохранили адат – провожать человека в последний путь под молитвы моллы. Махмуд-бек слышал, что их околоток не случайно называли «Гырых-дин»<sup>1</sup>, – здешние люди – потомки суфиев, ведущих род от Шаха Исмаила, Сеида Нигяри. Это все он слышал от своей тетки Шушен-халы, приезжавшей к ним в село из Шуши.

В Тебризе Махмуд-бек узнал, что люди здесь просыпаются не с первыми петухами, как в селе, а с утренним азаном, призывающим к молитве. Его боевые соратники творили намаз в урочное время, где бы не находились; возили с собой полуметровой молитвенный коврик. Этот коврик значил для них ничуть не меньше, чем оружие. Махмуд-бек постепенно попривык к богоугодным адатам, даже посещал мечеть в квартале Джарунлар, выслушивая проповеди ахунда об исламе; в месяц мухаррем он имел возможность увидеть мистерии и обряды, посвященные великомученику Иمامу Гусейну. Такие действия он лицезрел раньше только в соседнем Маральяне, куда махнул тайком в детстве. Он тогда не мог взять в толк, почему люди бьют себя цепями, доводя истязание до крови.

Выслушав несколько раз проповеди ахунда о благе намаза, Махмуд-бек так и не научился творить намаз. Может, его приобщению к обрядам правоверных помешали потрясения и смуты, происходившие по ту и по эту сторону Аракса. Разразилась борьба за власть. Говорили, что хотят низвергнуть династии Каджаров. И на трон посадят правителя-перса. Махмуд-бек и его люди не знали, на чьей стороне им придется сражаться.

---

<sup>1</sup> «Гырах-дин» (букв.) – «вне веры» или «околоверные».

Выжидали, считая дни. С северной стороны тоже приходили тревожные вести: отречение Николая, активизация армян, установление новой власти в Баку. Чем вся эта заварушка обернется, неизвестно. Сообщение с севером прекратилось. В Тебризе зрел мятеж. Трону грозила опасность. Ему никогда не могло прийти в голову, что тебризцы восстанут против Шахиншаха.

Отряд Махмуда расположился на окраине города, в махалле «Джарунлар». Ничего неделанье, ожидание, неизвестность. С пропитанием худо. От фасолевого похлебки животы пухли. Контрабандой не разжиться – граница на крепком замке. Махмуд тревожился о доме, снились кошмары: будто Саялы угоняют куда-то конвоиры на коне, а лица не разглядеть. Каждый раз, когда он пытался рассмотреть гонителя жены, сон прерывался или же лицо того человека сменялось его собственным, и он видел самого себя на коне...

Пару месяцев, как прибыл сюда, за Аракс, а уже затосковал по родным краям, по раздолью с золотыми нивами, зелеными лугами. Каждую пядь этой земли он обошел, помнил – до каждого дерева, цветка, куста, жил и дышал этой землей, и дух его предков витал над ней, на карабахской низиной по левобережью Аракса, и он всегда рвался причаститься к этому духу... И ему мерещилось, что его родную цветущую землю попирает чужая пята...

Его тревоги были не напрасны.

Однажды они сидели в сооруженном из кирпича коровнике, заменявшем казарму, и играли с джафарабадцем Керимом в нарды, которые смастерил Махмуд. Лучшие нарды были у Мамед-аги – инкрустированные перламутром, любо-дорого смотреть. Их Мамед-ага «экспроприировал» у контрабандистов.

Керем проиграл и на сей раз. Взял афтафу<sup>1</sup> и вышел из «казармы».

Он тоже вступил в отряд «казаков», состоявший из кавказцев, – в тогдашней Персии так называли волонтеров, прибывших с Севера, в том числе с араксинского приречья.

---

<sup>1</sup> Металлический сосуд для туалетных нужд.

Махмуд с Керемом исстари, с дедовских корней, доводились друг другу кумовьями; Керема новорожденного вручили дяде Фархаду для благословения.

К полудню охранник в мохнатой папахе сообщил Махмуду, что его хочет видеть человек. Визиты в казарму, к бойцам были под надзором. Без разрешения вышестоящих даже сотники не могли встречаться с кем-либо посторонним. Махмуд-бек, сопровождаемый сотнями взглядов, вышел из казармы-коровника.

Завеснело. Опушились деревья, взошла трава. Все предвещало приближение Новруза. Приложив ладонь к глазам – от яркого солнца, – он огляделся. Поодаль от казармы стоял шатер Мамед-аги. Перед шатром дымил самовар.

Выйдя из ворот, Махмуд увидел человека, прислонившегося к глинобитному забору. По жесту охранника понял: это и есть визитер. Он стоял, надвинув фетровый котелок на глаза. Махмуд-бек на всякий случай положил руку на рукоять нагана, подаренного Мамед-агой, когда у того родился младший сын.

Незнакомец снял котелок. Это был шапошник Саркис с махаллы «Кисечиляр».

Надо же, такой опрятный, в пиджаке, со свешивающейся из кармана цепочкой от брегета!

Поздоровались, Саркис сообщил о семье Махмуд-бека; все живы-здоровы, двухлетний сынишка Геюш растет шалуном, а новорожденный Гусейн – вылитый отец... Но вслед за этим огорошила худая новость:

– Гарахан хочет спалить ваш кишлак...

Саркису вообще-то нельзя было полностью доверять. Как я уже говорил, он был «кирвэ» – кумом обитателей махаллы «Кисечиляр». Но когда он сказал, что новорожденного самолично передал в руки «Пархаду» (так он произносил имя «Фархад») и об этом благом деле отцу не смогли вовремя сообщить, Махмуд отбросил все сомнения.



– Я не доверяю «Кисечиляр», потому им не сказал, решил сам добраться до тебя.

Махмуд-бек отвел его к шапошнику Зейналу, живущему в квартале «Джарчилар». Зейнал был человек сведущий, в том числе и в том, что происходит в тегеранском шахском дворце, – его внучатый племянник служил при дворе ашпазом<sup>1</sup>.

По словам, Зейнала, положение несколько утряслось и вскоре «северяне» вернутся восвояси.

Махмуд вернулся в казарму и вошел в шатер Махмуд-аги. Тот сидел, облокотясь о подушку-мутакку, покуривая кальян. Услышав, что за Араксом сгущаются тучи, дал согласие на то, чтобы Махмуд с отрядом переправился туда. Поспешность, с которой было изъявлено это согласие, показалось странным, но причина раскрылась:

– Ухудшение положения там нам на руку. Бери людей и езжай. Чем ни разживетесь – все пригодится.

Махмуд смешался. Мамед-ага шутливо заметил:

– Похоже, карабахцы разучиваются воевать. Надо их расшевелить.

Махмуд не выдержал:

– Враги со всех сторон прут! А ты в этой заварухе жаждешь прибытка!

– Какое нам дело до врагов! Мы должны делать свое дело! – нагло ухмыльнулся Мамед-ага.

– Я не могу напасть и учинить грабеж в своем селе!

Слово за слово, Махмуд-бек выругал Мамед-агу, тот смерил его холодным равнодушным взглядом и продолжал покуривать кальян.

Выйдя из шатра, Махмуд-бек некоторое время нервно расхаживал по двору.

Ссора с Мамед-агой не сулила ничего хорошего.

В казарме заметили его расстройство, но Махмуд-бек хранил молчание.

В ту же ночь он ушел за кордон.

---

<sup>1</sup> Ашпаз – повар.

Теперь он стал гачагом вдвойне, нажив себе еще одного недруга.

Надо было найти Гарахана и столкнуться с ним.

До села добрался засветло.

Дядя спал на чердаке. Но сразу проснулся, услышав цокот конских копыт. Схватив ружье, соскочил с чердака. Увидев племянника, успокоился и повел его к сараю, а коня отвел в конюшню. Эти предосторожности дяди Махмуду были понятны – теперь его искали повсюду. – Казаков до вечера куда-то перевозили.

Евлахец Бендиялы привозил почту, и глава отправился с ним. Похоже, новая власть в Баку хочет вышибить казаков отсюда.

– Но они никуда не ушли.

– Не ушли, но уйдут. Просто выжидают чего-то. Чую – не к добру все это.

– Мне тоже так сдается...

В сарае было прохладно, сыро, пахло конской мочой. Здесь Махмуду, выпившему верблюжьего молока, пришлось переночевать. До утра не казал носа на улицу.

Быть у себя в селе и не повидаться с семьей!

Но ничего не попишешь. Махмуд сообщил о том, что услышал от Саркиса – насчет планов Гарахана поджечь кишлак. Велел дяде не спешить с перекочевкой на эйлаг.

Вышел со двора засветло, до первых петухов, и двинулся в Джафарабад, в надежде найти Гарахана. Тот должен был скрываться где-то вблизи от отцовской подпаленной усадьбы. Ибо и его собственная семья оставалась там, и Гарахан, хоть и тайком, должен был наведываться к своим. И дядя Фархад так считал.

Когда Махмуд-бек доехал до «Урус-булагы», он заметил свежие конские следы, а под ореховым деревом у тутового сада – конские яблоки. Солнце уже выглядывало из-за гребня гор.

Запах свежераспустившейся листвы разливался окрест.

\* \* \*

Старое ореховое дерево у «Урус-булагы» хорошо помнится мне. Под его кроной десяток женщин могли выпекать хлеб, и этого хлеба хватило бы на целое свадебное торжество.

Ветер с гор шевелил и ласкал маслянистые листья этого великана. Щедрое было дерево, не скупилось на дары ребятне. Само, бывало, роняло плоды в зеленой рубашке, от которой чернели руки.

Выше, на всхолмье, белело здание туберкулезного диспансера, похожее в солнечном мареве на мираж. Некогда здесь была казачья застава. И «Урус-булагы» – память о тех временах. Мы с матерью, помнится, отправились в диспансер, к отцу, палимые солнцем, километра три, а то и четыре шли. Мать по дороге печально и тихо напевала-причитала, вспоминала, как по этой же дороге встарь отец хаживал в колхозное правление, и оплакивала те дни и еще живого мужа... Отец сидел во дворе под навесом, бледный, на лице ни кровинки, под запавшими глазами темные круги, кожа иссохла, обвисла. Отец, всегда при встрече бравший меня на руки, сажавший себе на плечи и «катавший» на себе, на сей раз хриплым голосом предупреждал мать, чтоб не подпускала меня к нему, «чего доброго, заразится...». Мне показалось, голос его дрогнул и глаза налились слезой, он отвернул лицо. Мне захотелось плакать. Мать прижала мою голову к себе, и я услышал, как урчит у нее живот, потому охота плакать пропала, вернее, мне стало смешно.

«У тебя живот урчит!» – сказал я со смехом. Рассмеялась и она. Спроведила меня за ворота: «Иди к роднику, насобирай орехов, а то вороны шустрее тебя окажутся... Сестренке твоей снесем...». Я обрадовался. В иное время не пустила бы: «Хозяин рассердится».

Когда вернемся домой, накажет: никому не говори о нашем хождении в диспансер, дескать, отец там «лежит нарочно», ему нужна какая-то справка; отец работал счетоводом в колхозе, и его диспансеризация совпала с

ревизией, прибывшей из Баку. Впоследствии я так истолковал дело, что он надеялся, что палочки Коха отпугнут ревизоров, и они не сунутся в его кабинет...

Короче, я занялся собиранием прошлогодних орехов, раскалывал, почти все гнилые, правда, попадались и здоровые, вокруг дерева вертелись и каркали вороны; подберут орех и улетают; по словам матери, они где-то закапывали их про запас; тем самым вороны способствовали размножению ореховых деревьев, особенно если учесть их трехвековое долгожительство.

Погодя пришла мать; глаза мокрые, углом косынки утирает их, она вроде и не плакала, будто глаза просто слезились, как при аллергии. Стала умываться у родника, а меня поставила сторожить у дороги, чтобы оповестить, если появится посторонний, особенно мужчина. Умываться при мужчине у нас возбранялось, я не понимал, почему, да и сейчас, признаюсь, не возьму в толк.

У родника стоял и кряжистый дуб. Когда случалось проходить мимо, я забирался на макушку и всякий раз нацарапывал свое имя на его ветвях. Каждый из юных древолазов норовил запечатлеть свое имя повыше. Может, это была претензия на вознесение...

\* \* \*

Махмуд-бек, перевалив через холмы около Кархулу, доехал до Пира-святылища. Пир представлял собой старую шелковицу и родник. Он был забит песком. В былые времена сюда валили толпами, а теперь – ни души. Возможно, холера поколебала веру людей в милость творца.

Он спешился, кинжалом расковырял песок и муть, забившие родник.

Посидел под деревом, вспоминая давние дни, когда ходил сюда с Бахрам-агой. Бахрам-ага, когда разгулялась холера, пришел сюда и дал обет, моля Господа об исцелении единственного сына – Селима. Вернувшись со святылища, этот внушительный мужчина разрыдался, как ребенок. Махмуда

приводил сюда дядя перед отправкой на фронт, дал обет и зарок, – после благополучного возвращения племянника заколоть жертвенного барана...

\* \* \*

Предложение исходило от Адиля или Фазиля, не припомню: давайте, мол, завтра, в утро последней среды накануне Новруза, отправимся к Пиру у села Кархулу, обетуемся.

Я, по правде, как выросший в семье атеиста, не интересовался такими вещами. При упоминании моллы или святилища отец мой морщился, корчил кислую мину и кусал губы; набожная бабушка, чтобы замолить это богопротивное отношение, причитала: «Астахфуруллах!» А мать отмалчивалась, глядя то на отца, то на бабушку. Назначение обета я так и не уразумел до конца. Непонятны были эти добровольные приношения, оставляемые под тутовым деревом, которые на наших глазах бесстыдным образом хватали и уносили самые противные мне людишки.

Тогда я учился в пятом классе. Все казалось нам интересным, и мы хотели познать этот мир и даже мечтали покорить его... На затею одноклассников я никак не реагировал, но после некоторого колебания согласился присоединиться. Потому что по пути, в горах, можно было пособирать «домбалан»<sup>1</sup> и тем самым внести лепту помощи моей атеистической бедной семье. Видимо, я стремился поскорее стать взрослым, потому всячески подсоблял родителям и считал себя важным членом семьи.

В среду утром мы пришли к каналу, поведали, по обычаю, свои сны текучей воде, умылись, сунули в карманы гостинцы в качестве обетованных даров и двинулись в путь. Дары состояли из пары конфет, нескольких орехов, плодов пшата и горсти жареных пшеничных зерен. Взошли на седловину горы. Кусты держидерева на желтых всхолмьях напоминали чем-то вражье воинство, подступающее к селу.

---

<sup>1</sup> Домбалан – трюфель, род подземного гриба.

Я вспомнил о черной змее, гнездившейся под этими кустами. Я своими ушами слышал, как эта змея по ночам блеет, как ягненок. И всякий раз при упоминании змеи меня пробирала дрожь.

Где-то гоготал рябчик. Дичь не про нас, мы могли только шарить в кустах, выискивая яички рябчика, но, увы, нам попадались только черепашки и змеиные...

Пир (святилище) находился посреди желтой песчаной пустоши. Иссохшее дерево и чахлый родник; ветви увешаны пестрыми лоскутками, веревками; люди выстроились чередой, чтобы оставить свой «назир» – знак обета – и испить святой воды.

А поодаль – кто закалывает жертвенного барашка, кто несет воду, кто разводит костер. В отличие от остальных, я пришел сюда без всяких суеверных надежд и никаких просьб к Создателю. И если б меня спросили о заветном желании, я бы, наверно, довольствовался поимкой рябчика. Бездетные женщины усадили меня на качели; я испугался, меня успокоили, мол, пришедшие сюда дяди и тети не желают мне ничего худого, а просто хотели бы, чтобы я помог им в осуществлении их мечты. Я так понял, что господь, узрев мое лучезарное лицо, загорелся бы желанием ниспослать бесплодным женам долгожданное чадо. Все это для меня было любопытно. Впервые за ежедневно созерцаемыми серыми холмами я видел не сказочный город, а пестрое тряпье на обычных ветвях обычного дерева, и это было прощанием с детскими снами и грезами.

Города с воздушными замками и минаретами, сверкающими позолотой и глазурью, были где-то далеко. Но прощание с иллюзиями детства – куда меньшее расстройство, чем то, что приключилось с нами на обратном пути.

Где-то чабан пас отару, доносился собачий лай. Мне казалось, что некогда отсюда проходил сказочный малыш – Джиртдан, здесь он обманул злого Дива и улизнул от него.

Но... тут показались откуда ни возьмись волкодавы и ринулись в нашу сторону. Мы со страху обмерли, куда бежать? Кругом серые холмы и кусты

держидерева; ни одного нормального дерева, чтоб взобраться, ни хибары, чтобы юркнуть и спрятаться. Ну, дали деру. Не пойму, как мы перемахнули через широченный канал. Я до сих пор не понимаю причину, почему пастушьи псы накинулись на нас после совершения богоугодного дела. С тех пор мое доверие к пирам убавилось, а уважение к атеистам возросло. С тех пор, как себя помню, я не видел, чтоб отец выказывал веру во Всевышнего и обращался к Корану.

Когда, скажем, корова не телилась, или случалась засуха, отец, как мать или дед, не взывал о помощи к Аллаху.

Вообще, отец не был из тех, кто смотрит на небо с религиозным трепетом, он считал небо пространством, в котором не было ничего, кроме небесных тел. Этот атеизм передался и мне, мать до конца дней не могла примириться с моей безбожностью. А к отцу она относилась с послаблениями, так как считала, что коммунист может обходиться и без Аллаха. Правда, отец не смог до конца оставаться верным атеистическим убеждениям и отступился от своих пролетарских предтеч. К концу жизни он носил в кармане за пазухой книгу с портретом святого Пророка Мохаммеда. В этой книге были записаны суры и поминальные молитвы, и отец смог выучить их наизусть. Его обращение в веру на закате дней, возможно, связано с болезнью. Он боялся смерти и по ночам, бывало, просыпался в испуге, вероятно, страшился, что Азраил внезапно настигнет его...

\* \* \*

Передохнув под тутовым деревом, повспоминав былые дни, Махмудбек въехал на всхолмье Моллалы. Земля здесь растрескалась от суши и безводья. Оттуда взял путь на урочище Дажал, на пустоши у старого кладбища, где стоял «Проклятый камень», придержал коня, по местному обычаю, бросил голыш в этот окаменевший символ зла и мысленно прочитал слова проклятия шайтану.

## Проклятый камень

По поверью, под Проклятым камнем таился шайтан. Этот шайтан рассорил два села, подстрекнув на свару из-за земли. Дошло до крови, люди одного села убили чабана соседнего. Те в долгу не остались... Чтоб положить конец кровной вражде, аксакалы с той и другой стороны собрались держать совет. Пустошь, из-за которой разгорелся сыр-бор, по решению аксакалов сочли местом проклятым и установили там валун – «Проклятый камень». Вот что мы в детстве слышали от взрослых; и нам внушали и наставляли не поддаваться наущениям шайтана, сентенций, проповедей хватало, и чем больше их было, тем меньше пиетета мы испытывали к ним. Однако в детстве мы в досталь пошмаляли камнями по символической глыбе. Когда случалось проходить мимо нее по серой, заросшей полынью крутизне, мы трепетали от страха и стремились поскорее удалиться. Мы и овечек, которых пасли, близко не подпускали к валуну.

Но впоследствии я стал свидетелем иного разговора, и мне открылась истинная подоплека этого ритуала. Это был миф, придуманный взрослыми людьми, причастными к преступлению, не сумевшему перебороть свою корысть, и свидетельствующий о стремлении замазать свой грех. Но то, что таишь от людей, не утаишь от Бога. На самом деле у Проклятого камня была убита безвинная девушка, ставшая жертвой злых языков и худой молвы... Доведенная до отчаяния, несчастная Бадамниса в вечерний час принесшая еды своему брату Алы – младшему сыну семейства из рода «Кисечиляр», не говоря ни слова, приложилась головой к земле, как на плаху положила, и закрыла глаза... Ни словом не пыталась оправдать себя. Она решила отомстить людям своей смертью. И брат поднял руку на сестру, занес нож...

Завернув труп в ватник, отнес в овчарню, оказалось, сердце обезглавленной сестры еще билось. Алы зарыл ее в наскоро выкопанную яму, засыпал землей и еще день, другой не возвращался домой под



предлогом поисков сестры. Хотя сельчане и заподозрили, что к «пропаже» сестры приложил руку сам Алы, все предпочли помалкивать, потому что так было удобнее. Им не нужна была ослепительная красота Бадамнису, как и ее жизнь.

На закате дней Алы ждала мучительная агония. Умирая, он выдал свою страшную тайну, еле шевеля посиневшими губами:

– Она вот здесь, под моей койкой...

Я видел эту хибару и эту койку в махалле «Кисечиляр» и уже подробно рассказывал об этом странном и зловещем строении.

После смерти Алы никто не решался раскопать тайную могилу. Люди страшились огласки смертного греха. Суеверные сельчане считали, что Бадамнису сбил с пути истинного шайтан. Между тем, шайтан сбил с пути и затмил разум самого Алы и всех сельчан. Моя бабушка сравнивала красавицу Бадамнису с лебедем и не уставала проклинать ее губителей.

От нее я и узнал правду.

Дело в том, что на Бадамнису положили глаз не только женатые-семейные охламоны, но и сам ее брат Алы. И он, душегуб, чтобы не поддаться искушению шайтана, глядя на белые рученьки и точеные ноженьки сестрицы, светящиеся под луной, не нашел ничего другого, как совершить дикое, омерзительное убийство... И кровью ее окропил подножие Проклятого камня. Тем самым, казалось ему, он покарал и проклял не только сестру, но и всех, кто опорочил ее... Кто знает, может, шайтан прежде совратил самого Алы, а не сестру его, и добился своего...

\* \* \*

Переправившись верхом через пойму реки Дажал, он выехал на равнину.

Близился полдень, он не стал подниматься на противоположный увал и направился в гранатовую рощу, подальше от людских глаз. Доехал до

побитого молнией каменного дерева – «дагдаган», и... не поверил глазам своим: под деревом на земле спал Гарахан.

Махмуд-бек не стал его будить, притулился к стволу дерева, дожидаясь, пока его давний недруг сам не проснется. Странно, что ржанье коня Гарахана при виде гнедого Мерджана не возмутило покой хозяина. Впрочем, может, Гарахан и заметил приближение «гостя», но прикинулся спящим.

Лицо обросшее, черты выдавали тревогу. И так, перед ним кровный враг.

Казалось бы, возьми и убей.

Но он об этом и не подумал. Может, вспомнил проклятие Сальминаз: «Чтоб у тебя не было достойного врага!»

Достойный – тот, кто не стреляет из-за угла. Что-то нашептывало Махмуд-беку, какое-то наитие подсказывало: врага надо искать в другом месте. Долго он взирал на спящего, одна рука – на прикладе ружья, другая – на рукоятке кинжала.

Ему стало жаль Гарахана. Того самого Гарахана, который исстари наводил страх на всю округу, въезжал в село – поджимали хвосты. Но перед ним был другой Гарахан. Вроде что-то обломилось в грозном человеке, в чертах проступило нечто новое – одичание, опустошенность.

Махмуд-бека и самого сморили духота и усталость, и он стал клевать носом, дрема влекла в сон. Его разбудил вечерний свежак с гор. Гарахан исчез. Он огляделся. Ни души. Тишину нарушал шелест листвы дагдагана, сквозь которую проглядывала синева неба с клочьями ватных облаков.

Они поняли друг друга...

Махмуд дождался сумерек и решил вернуться в село. Надо было подумать об отражении ожидаемых набегов. Проехав мимо кладбища, он опустился в «Айси-дере».

«Айси-дере» простирается у трехглавого всхолмья «Уч гардаш»<sup>1</sup>.

Мне помнится, как давним летним днем с золовкой моей сестры Тариш (от «Таране») я перегонял ихтелку к нам в село. Солнце пекло. Тариш тащит телку за веревку, а я охлестываю хворостиной животное, которое то и дело останавливается, чтоб передохнуть. У телки к тому же расстройство желудка, зеленая жижа перепачкала ей ноги. Животное, казалось, состояло из этой жижи и уменьшалось на глазах. Сестра отправила телку к нам в надежде, что выздоровеет. Мы ее еще теленочком передали в качестве приданого, когда сестра шла замуж и перекочевала в соседнее село. По замыслу, теленок должен был вырасти в телку, потом «сдружиться» с породистым быком Алыша, стать «дамой», то бишь коровой, отелиться прекрасным теленком, обязательно бычком, которого собирались заколоть на торжество по случаю обрезания предполагаемого, еще не родившегося сынишки моей сестры...

И вот теперь захворавшая телка опрокидывала все эти далеко идущие планы, и никто не мог смириться с этим. Ради осуществления заветного чаянья моих родителей, мечтавших о внуке, мы готовы были пойти на сие испытание, и пройти эту дорогу не только под палящим солнцем, но и в буран, и в ураган... Забегая вперед, скажу, что телка выжила, выздоровела, но сестрина сторона, проявив нетерпение, не стала дожидаться превращения телки в корову, продала ее и купила «Запорожец». Когда покупали этот драндулет, тоже морока была. Выручки от продажи телки не хватило, потому мне пришлось тащить на своем горбу через перевал в село, к сестре, узорный коврик, который она соткала в девичестве. Хотя на песчаном увале несколько раз я поскользнулся, но устоял, не скатился и уберег коврик и, значит, мечты о «Запорожце». Но мои заслуги были забыты всеми после покупки машины, на которой мне удалось прокатиться всего один-единственный раз. Если я скажу о причине, то, боюсь, любезная сестра моя обидится за моего зятя. Я

---

<sup>1</sup> Букв. «Три брата».

ведь и без того кое о чем вам поведал раньше. Потому лучше перейти к более значимым материям.

Холм «Три брата» расположен над дорогой, под которой отправлялись в Мекку. В этой благословенной точке и находится наша «киблэ». Бабушка, когда во дворе случалось резать птицу или закалывать скотину, говорила: «Обратись лицом к киблэ». Покинув наши земли, мы потеряли свою «киблэ». Теперь мы не видим «Трех братьев». На памяти же осталась бабушкина сказка. Жили-были три брата из огузского рода-племени. Охотились на зверя, на дичь, не бедовали. Случилось так, что каждому из братьев приглянулась девица-красавица из соседнего рода – оказалось, одна и та же. И звали ее Зиярет. Тоска одолела старшего, занедужил. Каких ценителей ни звали – проку нет. После долгих расспросов средний и младший брат смогли узнать, кто причина его терзаний. Отправились на поиски. Выяснилось, все трое влюбились в одну и ту же. Тут и средний, и младший стали сохнуть. Наконец, решили уступить младшему и женить его. Послали сватов. Опять незадача: на избранницу положил глаз кяфир из соседнего края, хочет жениться на ней. Отец красавицы вынужден был дать согласие на этот брак, – за кяфиром была сила. Братья решили сразиться с воинством кяфира. А полчищу его несть числа. Братья косят и косят, а конца врагам не видно. Стали спиной друг к другу. Отбиваются. Их берут в кольцо. Братья молят Господа – преврати нас в камень. Господь внял их мольбе. Но кяфиры успели обезглавить двух братьев прежде, чем они окаменели. Старшего не успели. Зиярет, наблюдавшая битву, молит Создателя и ее обратить в камень... С тех пор окаменевшие братья и прекрасная избранница созерцают друг друга...

Слушая рассказ бабушки, я страшно сопереживал и невольно воображал себя на месте младшего брата, соответственно, бьющегося плечом к плечу со старшими против наседающих врагов, и чуть ли не въяве ощущал холодное прикосновение клинка и запах собственной крови... потому, наверно, все это рассказываю вам.

Когда Махмуд-бек спускался к «Айси-даре», вновь произошло неожиданное: он столкнулся с Гараханом лицом к лицу. Словом шайтан торопил их обоих.

Взошла полная луна, осветив всю дорогу.

Махмуд почувствовал дыхание близкого Новруза. Ему даже почудился запах дыма и жарившейся на огне говурги-пшеничных зерен. Мерцание светлячков, хор цикад придавали ночной тишине некое очарование. До переселения на новое пристанище семейство Махмуда разводило костер на возвышенности у Джафарабада. До утра затевали игрища у огня, боролись на поясах, сшибали вареные куриные яйца – у кого скорлупа выдержит, устраивали собачьи схватки. А в состязании наездников с ним мог потягаться разве что Гарахан. И после переселения, случалось, поднимались на это приволье, – когда разольется Аракс и вода затопит округу. Кострища все еще сохранились, и Махмуд понял, что это-то и навеяло ему забытые запахи Новруза.

Так вот, пройдя немного по долине, гнедой Мерджан стал, увидев впереди тень. (Это был Гарахан). Махмуду и в голову не приходило, что им придется встретиться здесь. В сущности, там, под каменным деревом-дагдаганом они уже без всяких слов объяснились.

Махмуд-бек спешился.

Сошел с лошади и человек, ехавший навстречу, сняв ружье с седла левой рукой. Махмуд понял: левша.

Значит, Гарахан.

Подожли друг к другу.

– С детства у меня зуб на тебя, – сказал Гарахан, показалось, с улыбкой.

– А я давно позабыл об этом.

Потянулась пауза. Хрустнули ветки в кустарнике. Заяц ли, лиса ли. Мерджан вздрогнул и фыркнул. Махмуд нарушил молчание:

– Я обыскался тебя... До Зангезура аж добрался...

– Видно, не так искал, как надо.

– Где было знать, что ты здесь обретаешься? Я искал в Гырахдине...

– Какого рожна я туда полезу... Столько дней – ни сна, ни покоя...

Лиходеи... И лошадям, видишь, хвосты пообрезали...

– Мы к этому делу непричастны.

– Ну, поглядим, разберемся. Но сперва начнем с «Ада»<sup>1</sup>. – Гарахан подразумевал место их мальчишеской сшибки.

Гарахан все больше распалялся. Это почувствовали и Махмуд, и его встревожившийся Мерджан.

– Чего не бывает в детстве, – примирительно сказал Махмуд-бек. – Я забыл, забудь и ты.

– Такие вещи не забываются! И не прощаются.

Прогремел выстрел. Гарахан пустил пулю поверх головы Махмуд-бека. Гнедой взвился на дыбы и чуть не вырвал узду из его руки. Махмуд-бек отпрянул за выступ скалы и обмотал узду вокруг выступа. Сперва показалось, что Гарахан выстрелил, чтоб испытать его. Хотел бы убить – не промахнулся бы.

Но последовал второй выстрел, третий...

– Готовься! Из этой встречи выйдет живым один из нас! Ты или я... Если позволю тебе уцелеть – могила Бахрам-аги разверзнется!

– Я искал встречи, чтобы поговорить начистоту, – сказал Махмуд-бек. Я не знаю ничего не о проделках нукеров Бахрам-аги, ни о прочих кознях...

Почувствовав, что ставит себя в положение оправдывающегося, он оборвал себя на полуслове.

Некоторое время и Гарахан хранил молчание.

---

<sup>1</sup> Ада – остров. Имеется в виду остров на Араксе.

– Я точно знаю, что поджог – дело рук Фархад-дайи<sup>1</sup>! Мои ребята догадались. По его лошади.

– Мой дядя до такого не опустится! – возразил Махмуд-бек. И вспомнил: ведь незадолго до поджога Керем сообщал о краже коня Фархад-киши. – Коня дяди кто-то похитил.

– Этого никто бы не смог. Кроме меня. И я не стану стрелять в своих ребят. Потому – не тяни. Решим все тут.

– Нам бессмысленно биться.

В выступ скалы перед Махмуд-беком угодила пуля, осколок камня больно ударил в локоть. Махмуд-бек подавил крик. Ему показалось, Гарахан не в себе.

– Одному из нас – умереть! Кто останется в живых, пусть прикончит и коня другого.

Гарахан гнул свое.

– Я не буду стреляться с тобой, – Махмуд-бек выступил из-за скалы, – потому что...

Его слова заглушили раздавшиеся откуда-то подряд три выстрела, и Гарахан упал. Папаха слетела с головы. Махмуд кинулся к нему и оттащил его за скалу. В лунном свете ясно просматривалось побелевшее обросшее лицо.

– Это... они... – Гарахан тяжело дышал. – Я давно подозревал... Видно, чтоб распознать врага, одному из нас... суждено... Ты... скачи в село... казаки вместе с армянами... заваривают кашу... в Горисе... в Гадруте... плохи дела... Убили сына Панах-бека... брата Джовдета... – Помолчал. – Сукины сыны... В спину меня...

Махмуд-бек поскакал в ближний кишлак, сообщил людям о произошедшем: «Передайте ребятам, чьих рук это дело...» и помчался в село. Фархада-киши он дома не застал. «Дядя твой отправился за бумагой о реабилитации, – сказала тетя. – Надеется, что новая власть восстановит тебя

---

<sup>1</sup> Дайи – дядя по матери.

в правах...». Махмуд-бек не очень поверил в эту затею, но промолчал, чтоб не расстраивать тетю. Велел племяннику сводить гнедого на водопой, а сам подался не в комнату, а в пристройку. Сел, глядя на поднесенный чай. Ушел в думы. Он догадывался, с какой стороны стреляли.

Саялы с грудным Гусейном кротко уставилась на него, а двухлетний Геюш потянулся к отцову нагану.

– Не тронь! – прикрикнула Саялы.

– Не ругай его! – отозвался Махмуд-бек. – Может, он и отомстит за отца своего... – почувствовав, что голос осекся, сказал тверже: – Вели нукеру развязать и отпустить псов.

Саялы напугали его слова и тон.

– Отцы все мечтают не о нукерах, а о аскерах, – он попытался улыбнуться.

Но тень тревоги не сходила с ее лица. Отвернулась к самовару, как бы вспомнив о чае.

Махмуд-бек, сидевший, как на иголках, встал, взял со стула патронташ и повернулся к жене:

– Срежь клочок с твоих прядей – мне на память... на всякий случай.

Жена побелела лицом. Молча уложила грудного ребенка в зыбку, сплетенную из тростника. Подошла к мужу. И тут донесся топот. Вбежал впотьмах Балоглан:

– Дайи! Вокруг полно солдат! Ребята с «Кисечиляр» узнали Мерджан... и я отпустил гнедого... ускакал...

Махмуд-бек вскочил, на ходу пристегивая патронташ к поясу. Выйдя со двора, побежал к Араксу. Солдаты гонялись за гнедым, постреливая вдогонку.

Пуля угодила Мерджану в переднюю правую ногу. Гнедой припал на ногу, но не упал. Махмуд-бек пустил пулю в стрелявшего солдата. Заорал:

– Оставь коня в покое, сукин сын!



Теперь пули полетели в его сторону. Он пригнулся и метнулся к соседскому сараю. Завязалась перестрелка.

Пули сыпались градом.

Махмуд почувствовал толчок в правое плечо и боль. Потом пуля полоснула по уху.

Солдаты ринулись к его дому.

– Женщин, детей не смейте трогать! – крикнул он из-за укрытия и выбросил в сторону нападавших пистолет и наган.

Солдаты стали и затем начали подкрадываться к нему. Их возглавлял Сары.

Соседи – дети Джафара, жена Абдулали – испуганно выглянули из-за плетня и исчезли.

– Выйди, покажись! – крикнул Сары. – Мы тебе не верим!

Махмуд-бек вышел из-за дувала и устремил взгляд на своих врагов.

Прогремел выстрел. Стрелял Сары. Пуля впиалась в бедро. Показалось – тело пронзили раскаленным железом.

– Если не прикончишь, он перебьет всех нас, – Махмуд-бек ясно расслышал слова Сары.

Он понял все. Это были мразь, шкурники, не привыкшие к честной схватке «Кисечиляр» с приспешниками, не были способны на открытое противодействие. Подонки, привыкшие бить из-за угла.

В последний миг перед глазами всплыли лица Селима и Гарахана, похожих друг на друга... и истошно орущая, убивающаяся Сальминаз.

Вторая пуля задела уже раненое плечо. Третья заставила скрючиться от боли в животе. Боли от последующих пуль он уже не почувствовал.

Саялы перед сараем рвала на себе волосы.

– Не стреляйте! – выла она. – Дайи принесет сегодня свидетельство!..  
Оправдание... получит...

В небе летали незнакомые, невиданные Махмуд-беком птицы, серые, с перьями пепельного, полынного цвета.

Распластавшийся на земле в последний миг он услышал приближающиеся шаги.

Грубые, зловещие шаги.

Шаги смерти.

И еще – дыхание склонившихся над ним исчадий с махаллы «Кисечиляр». Дыхание, отдававшее болотом...

\* \* \*

Здесь завершается история моего деда. Но я не смог найти исчерпывающего ответа на мучившие меня вопросы и оставил их на суд времени и судьбы.

### **Амнезия Сары-муаллима**

Несмотря на поправку и фактически опровержение, опубликованное газетой, потомки «Кисечиляр» подали на меня в суд.

В иске за подписью Сары-муаллима утверждалось, что я обвинение в историческом беспамятстве не только махаллы «Кисечиляр», но и всей нации. Дескать, я писал, что память у них была похищена какими-то злоумышленниками. К иску, направленному в суд, прилагались вырезки из нашей газеты с моими «Заметками на полях». Суд, в свою очередь, направил эти заметки в университет, ученым текстологам, историкам и еще маститому писателю на экспертизу.

В день начала судебного разбирательства перед зданием суда мне встретился один из махаллы «Кисечиляр». Я только что сошел с маршрутки, следовавшей на Баилово. Этот человек, смерив меня многозначительным и колючим взглядом, прошел мимо меня.

Перед зданием вижу нескольких моих сослуживцев и членов Союза журналистов. Кое-кто, особенно женщины, встретил меня сочувственными

взглядами, другие, преимущественно мужчины, удостоили укоризненными взглядами.

Адвокат сокрушенно покачал головой. Я понял: чаша весов не в мою пользу. Прошел в зал. Сел. Адвокат примостился рядом:

– Эксперты дали отрицательный отзыв.

Это не было неожиданностью для меня. Я кивнул: мол, усек.

Меня еще посадили на скамью подсудимых.

Это было предварительное заседание, и экспертизе предстояло определить, представляют ли мои писания общественную опасность.

Очкастый тощий судья, похожий на чахоточных больных, то и дело кашлял и, утирая пот платком, начал заседание. В ту пору по городу гулял гонконгский грипп. По обе стороны от судьи – заседатели. Слева – дама, изрядно наштукатуренная и все еще полная жажды жизни, справа – мужчина с большим брюхом, возможно, страдающий водянкой.

Судья, легонечко приподняв очки (будто снимал бинт с оперированного), поприветствовал ученых мужей и низкорослого инженера человеческих душ. Один из профессоров смахивал на двуполое существо, то и дело ерзал, возможно, страдая известным недугом, препятствующим сидению, другой был красным, как петух, и часто теребил волоски на бородавке, украшавшей нос.

Писатель, явный сангвиник, то барабанил по столу, то поглядывал на публику, как на свой электорат.

– Просим ответчика встать! – судья обратился не ко мне, а к главреду и тот, в свою очередь, взглянул на меня. Я поднялся.

– Значит, ответчик – вы?

Я кивнул. Служитель Фемиды напомнил содержание иска, отметив, что истец является уважаемой личностью, и предоставил мне слово.

Я, естественно, опроверг предъявляемые претензии и объяснил, что мои суждения в статье истолкованы превратно. Адвокат истца перебил меня:

– Господин судья, этот гражданин вновь позволяет себе оскорбительные выпады, обзывает своих оппонентов нехорошими словами, в частности, тупицами, а это слово подразумевает известное домашнее животное.

Я запротестовал, сказав, что не позволял себе такого непотребства. Судья сказал, что если мне нечего добавить, могу сесть. Мне добавить больше нечего.

Дошел черед до экспертов.

Женоподобный профессор был старше возрастом, потому петухообразный коллега уступил ему.

Профессор чинно встал, изъявил почтение судье и публике и совершил краткий исторический экскурс. Затем показал на меня.

– Этот сочинитель ворошит прошлое, постоянно берedit больную память, муссирует кровную вражду... он пишет, «что влезает в память своего деда». И не сознает, что тем самым оскорбляет дух своего предка. Кого-то честит предателем, вероломцем. Даже дошел до того, что в падении первой республики виноватил предков Сары-муаллима. Мало того, расчленение Азербайджана он связывает с беспамятством нации и оскорбляет ее, утверждая, что история повторится. Сей труженик пера утверждал, что идеи Мамед-Эмина и «Мусавата» потерпели крах потому, что в их основополагающих принципах ничего не говорится об исторической памяти, о ее возрождении... и в итоге нация утратила политическую бдительность. Этот человек договорился до того, что считает Карабах утерянным, мол, Карабах при смерти, дышит на ладан и т.д. А все потому, видите ли, что людей пичкают гуманитарной помощью, продуктами, содержащими вещества, разрушающим память. Он ёрничает по поводу переселения беженцев из палаток в новые дома и предлагает беженцам отказаться от гуманитарных продуктов, объявить голодовку и не селиться в новые дома. Это, господа, небольшевистское мышление. Спрашивается, а что же есть, чем кормить беженцев?! И еще его бредовый образ: «полынные чайки» или

«чайки-полынники», черт их знает. Это новое «изобретение» в нашей фауне. Разве в Карабахе полынь растет, чтоб еще чайки эти... полынные завелись?

– Ты сказал о птице, – внезапно поднялся писатель-коротышка. И обрушился на меня: – Он и меня ославил в своем опусе! Уподобил меня птице, увязнувшей в битуме! Да вы посмотрите: разве я похож на птицу? – воззвал он к публике, простирая руки, и вызвал громкий смех.

Встал мой адвокат с протестом, что эксперт говорит не по существу; и защищаемое им лицо, то бишь ваш покорный слуга, нигде не упомянул уважаемого Сары-муаллима. Что касается «полынных чаек», то это художественный домысел, так сказать, плод воображения.

Эксперт с петушиным обличьем, не спросясь судей, встал и заявил, что я задел достоинство Сары-муаллима и прозрачно намекнул на его близость с родом «Кисечиляр». И если, по мысли автора, к забвению исторической памяти махалла «Кисечиляр» причастна напрямую, стало быть, и Сары-муаллим «того же поля ягода»...

Короче, по мнению экспертов, меня надо было или посадить за решетку, или же выдворить из страны.

Суд назначил следующее заседание на следующую неделю.

На этом заседании вынесли решение: обязать редакцию дать новое пространное опровержение и уплатить потерпевшему моральный ущерб – штраф в пятьдесят миллионов.

Мы решили подать апелляцию. Истцы же хотели добиться исполнения до рассмотрения апелляции.

Они намеревались отнять у меня дедушкин кисет-портмоне.

Присланный ими в редакцию волосатый тип заявил:

– Мы знаем, ты хочешь возродить дедушкину память. И зря! Проку от этой памяти деду не было, и тебе не будет. У дедушки твоего выкрали память!

Люди, некогда преследовавшие моего деда, предавшие его, теперь взялись за меня. И как они подобрались, проникли во все подробности,

изломы, больные и уязвимые точки памяти, родовой, атавистической, генетической, нравственной, если хотите, которую я нес в себе?

Я вспомнил давние слова отца. И меня осенила догадка. Перед глазами возникла старая, загадочная зловещая хибара в махалле «Кисечилияр»... «Вошедший в нее теряет память... Никого не узнает...». Похищение памяти? Как же это возможно? Мистика какая-то... Одно дело – физическое воздействие, травма, в конце концов, может, внушение... А тут... Но то, что от этой проклятой хибары исходила некая тлетворная, разрушительная аура, было несомненно. Это был, вероятно, дух ее злокозненных и коварных обитателей...

Выходя из метро на станции «Нефтчилияр», я задержал взгляд на настенной мозаике. Почудилось, что один из людей с винтовкой в руке – это Сары, в свое время расстрелявший моего деда, а командир, отдающий приказ, смахивал на женоподобного профессора-эксперта... И папахи на головах казачьих воинов сшили шапошники с махаллы «Кисечилияр», и все они были похожи на Саркиса, описанного моим дедом. А на другом панно в противоположном конце вестибюля изображали застолье, веселье, хороводный танец – яллы... Воображение продолжало нашептывать – уж не аксакалы ли с «Кисечилияр» торжествуют, отмечая убийство моего деда?..

Я отмахнулся от этих наваждений, стараясь сосредоточиться на предстоящем разбирательстве в Апелляционном суде.

Однако раздавшийся дома телефонный звонок настроил меня на иной лад.

Женский голос приглашал меня на творческий вечер известной певицы:

– Если тебе не безразлична судьба Милы, приходи.

**Роза для прекрасной дамы**

Пройдя через нарядный и светлый вестибюль в зал, я стал искать глазами Милу.

Увидев даму напротив себя, я растерялся. Это была А. Испытующе уставилась на меня. Показалось, что она имеет какое-то отношение к Миле и хочет сообщить мне нечто важное.

Надо было найти предлог подойти, и вскоре он представился.

А. явно перестаралась с косметикой, стараясь выглядеть источающей молодую свежесть барышней. Когда-то она была всеобщей любимицей, теперь источала темпераментные флюиды, рассчитывая сразить мужчин наповал, но, увы, сильный пол никак не реагировал. Рядом с ней стояла спиной ко мне молодая дама с короткой прической, я, было, подумал: «Мила», но стройная девичья фигура с аккуратными, как мяч, округлостями опровергла мое предположение. Мила давно перешла соответствующий таким формам возраст. Позже выяснилось, что она – дочь А., и не уступает матери в кокетстве, а уж тем более в прелести.

Они о чем-то тихо переговаривались. Дочери приходилось часто прерывать эту воркотню с очередным приглашением на танец. Приглашали иногда и ее мать из вежливости. А ведь некогда отбоя от поклонников не было. А. играла роль неувядающей красавицы, картинно любуясь дочерью, о чем-то болтала с подвернувшейся подругой и лучезарно улыбалась. Но от моего внимания не ускользнуло, как она нервно теребила ручку своего ридикюля.

Это была хладнокровная и темпераментная особа. Некогда она убила своего возлюбленного и продержала какое-то время в спальне, поплатившись 15 годами заключения, но по ходатайству культурного сообщества ей скостили половину срока.

Услышав эту историю, я подумал, что А., возможно, знакома с произведением Фолкнера «Розы для Эмилии», – литературная героиня, напоив и усыпив своего бой-френда, легла ему на грудь и вонзила в него обоюдоострый кинжал, оставшийся на память от предка. И все потому, что

возлюбленный надумал жениться на другой, а Эмилия никак не желала уступить свое сокровище и поклялась, что переспит с ним: и она исполнила то, что в свое время не мог сделать ее дед в отношении своей избранницы.

Я впервые увидел ее солнечным днем. До сих пор помню зной того дня и аромат духов, исходивший от нее. Когда она приезжала к нам в село, я был мальчишкой, мы с ребятней гоняли мяч у шоссе. Первым их увидел Фамиль. Рамиз, фасонясь, вышел вперед, в футболке с надписью белыми буквами, в черных брюках клеш. Она была в бордовой юбке и кофте в белую полосу, с вырезом на загорелой спине. Из-под сползающей с плеча майки ослепительно белела полоска кожи, не задетая солнцем. Пока она, со спутником из машины, шла к дому Рамиза, весть о приезде звезды успела разнестись по всему селу. Но когда они открыли дощатую дверь и вошли во двор, мать Рамиза, шокированная фривольным, на ее взгляд, облачением красавицы, громко выразила свое возмущение, крикнув выглядывавшим из-за плетня соседям: «Гляди-ка, какое бесстыдство!» Но вмешавшийся в дело отец Рамиза утихомирил жену и замял назревавший конфуз. А мы, мальчишки, сразу втюрились в А. С ее появлением село словно сразу похорошело, потому что наше село видело обгоревших под солнцем дочерна тружениц, с задубевшей и растрескавшейся кожей, пропахших очажным дымом и чадом и неизбежным потом. А теперь явилось ухоженное, холеное, благоухающее создание, победительно и беззастенчиво демонстрирующее свою прелесть. Недосыгаемая мечта для сельских мужчин и недостижимая красота для женщин.

Она пробыла в селе полдня. Гостеприимное терпение матери Рамиза было ограничено временем следования вечернего поезда. Она же не воспользовалась таким радушием и предпочла в отместку провести все время у родника в окружении обступивших ее мальчиков и девочек, весело забавляясь в их компании. Я жил по соседству с Рамизом. Стало быть, у меня было предпочтительное по сравнению с другими право на общение со звездой. Я принес ей горсть алычи. Она обрадовалась подарку. Погладила



меня по головке: «Какой ты красивый мальчик!» Взяла алычу, и ее мягкие-мягкие белые пальчики коснулись моих, и меня как током пронзило. Помнится, до вечера я не мыл рук, чтобы сохранить волнующий аромат, передавшийся им с этим прикосновением.

Она с таким смаком уминала алычу, что даже у ребят, которым эти плоды набили оскомину, теперь слюнки потекли. Все было в ней необыкновенно: жесты, смех, речь, взгляд, грация...

Мы были заморожены ее чарами...

...Она подозвала меня пальцем.

Тут полилась элегичная мелодия какого-то иностранного композитора, люстры погасли, и зал окутал сумрак. А., поднявшись с места, пригласила меня на танец. И, уже танцуя, прервала мой вопрос, приложив ладони, пахнущие кремом, к моим губам.

Невольно нахлынуло воспоминание о давнем дне и очарованности ею. Теперь я напрочь забыл о Миле. Мне показалось, что А. надушилась теми же духами, которые обожала Мила.

– Знаешь, – неожиданно выдала моя партнерша по танцу, – он был очень похож на тебя... – И тихо захихикала.

Она намекала на убитого возлюбленного. Меня оторопь взяла.

– Меня уподобляют многим... Даже до Алена Делона договорились...

Диалог продолжался шепотом.

– Ты очень похож и на деда своего, – снова лукавый смешок.

Я хотел спросить, откуда она знает моего деда, но осекся. Теперь она смахивала на гадалку Сальминаз.

– Я – внучка Сальминаз, – подтвердила она, словно прочтя мои мысли.

– Бабушка моя о нем рассказывала... Она могла быть и твоей бабушкой... Значит, мы с тобой – родня...

– Но ведь...

– Понятно... Тебе нужны доказательства, не так ли? Ты не додумал до конца... А может, нарочно опустил эту деталь... в своем сочинении... Знаешь, что сотворил твой дед, придушив Сальминаз?

Я замотал головой.

– Изнасиловал ее.

– Этого не может быть.

– Было, а после ее взяли к себе люди с «Кисечиляр» и приютили. И гадалка Фатьма, к которой ты ходил, – моя мать... Мы хотим оберечь тебя. Лучше бы теперь вернуть дедовский кисет...

– Не верну. То, что ты говоришь, – чушь. Она сама сохла по деду...

– Как бы ни было, твой дед воспользовался случаем.

– Это – выдумка людей с «Кисечиляр». Будь ты внучкой Сальминаз, не перебралась бы в город.

– «Кисечиляр» увезли Сальминаз в город, чтобы запутать следы. И мой приезд в село был не случаен. Помнишь, как я погладила тебя по голове? – она повторила этот ласковый жест спустя вечность. – Ничто в жизни не случайно.

– Они... управляют памятью всех, так что ли?

– Так, – усмехнулась. – И твоею, в том числе.

– А причем, скажи, Мила?

– Мила была моей подругой. Она действительно пропала внезапно. Позже обнаружили ее на берегу моря. Мне кажется, она утопилась, чтобы не подставить тебя под удар.

– А может, ее утопили?

– Может быть.

– А ее письмо? Не ты ли сымитировала?

– Какое письмо? Я ничего не знаю.

– А звонок?

– Это была я.

Мы некоторое время танцевали молча. Выходит, «Кисечиляр» проникли в мою фамильную память, прибегнув к услугам гадалок... Быть может, А. говорила правду, и мы с нею, а стало быть, и с матерью ее – носители одного и того же гена...

– Ну что, внучек, – огорошила она меня, – нравится тебе моя дочь?

Хотя и сердце захолонуло, я ответил кивком.

Сейчас она выглядела пугающе и жутко, похожая на манекен.

Я держал ее за талию. Казалось, под платьем была полая, пустая, металлическая модель. Она походила на инопланетянку. Я почти физически ощущал внутреннюю пустоту, таящуюся под облаченной в платье холодной формой. Но, демонстрируя невозмутимость, галантно проводил ее на место, однако вместо ее руки поцеловал руку дочки, пахнущую теми же духами.

Я чувствовал взгляды любопытных, следящие за нами.

– Не ломай голову, – сказала она. – Верни кiset.

– Этому не бывать.

– Все равно, ты не поймешь ему цену. Это не символ одной только памяти. Это... метафора богатства. А богатства у тебя нет и не будет вовеки, потому что вы не смогли уберечь его. Между тем оно было в ваших руках. Все было в ваших руках... когда-то...

С этими словами, взяв дочку за руку, она направилась к выходу из зала. Напоследок обернулась:

– Не ломай голову. Все давно распродано.

...Поздним вечером, возвращаясь, я увидел полную луну, висевшую высоко над головой... Может, луна сопровождала и действия А., когда она убивала возлюбленного?..

## Полынные чайки

Апелляционный суд вынес решение, которое мы ожидали: ввиду неимения средств у редакции для погашения штрафа конфисковать ее имущество и предоставить в распоряжение жителей махаллы «Кисечиляр» участок, прилегающий к редакции.

Мы не могли смириться с мыслью о потере этого заветного уголка земли, где прошла лучшая пора нашего отрочества и юности.

Нас хотели лишить оазиса нашей памяти, где мы росли, забавились, влюблялись, целовались-миловались... Дорога в редакцию отрезалась, как если бы наглухо закрывалась единственная форточка, отдушина в некоей казарме.

И все – за попытку возродить память.

Главред, прочтя решение суда, вопрошающе уставился на меня.

– Стоять до конца!

Вскоре пришла весть, что люди с «Кисечиляр» намерены строить на конфискованном участке фабрику по выделке кожи.

Но пока было тихо.

Через несколько дней, вернувшись из редакции, я собирался поспать, но меня разбудил тревожный звонок дежурного: люди с «Кисечилере» захватили площадь и движутся к редакции.

Мы сошлись на краю площадки. Это было полчище с резиновыми дубинками, водометом, арматурой.

А мы – с голыми руками.

Первый удар пришелся по первому заместителю. Арматура уложила его. «Кисечиляр», переступив через него, рванулись на меня. Со мной стоял сослуживец Нара. Вдруг он шмякнулся оземь, как пень. Затем обрушился удар на мою голову. В глазах потемнело, но я устоял. Второй удар, в спину, сбил меня с ног, и я почувствовал что-то липкое на рубашке.

Кровь.

Ползком я добрался до Гары.

– Нас предали! – простонал он.

Полиция созерцала со стороны и не изъявляла желания разнять нас.

«Кисечиляр», исколотив нас, смылись.

Я кое-как выбрался из катавасии и упросил шофера «Жигулей» довезти меня. Тот содрал двойную цену, но довез.

– А куда смотрит власть? – причитала жена, смывая кровь с моей головы.

– Всю эту кашу она и заварила... – промычал я.

– А эти международные демократы, гуманисты, иностранные господа?

– От их демократии нефтедолларами пахнет... Им втолковывают, мол, не удивляйтесь, у нас такой менталитет. Они и верят. Мы, видишь ли, страна нефти и ислама.

Вечерком я тайком от всех наведалься в редакцию. А там ни души. Кроме сторожа.

– А где люди?

– Переметнулись... – И, жуя фильтр сигареты, вздохнул: – Где теперь сыщу себе работу? На какие шиши семью прокормлю? Все мы – беженцы.

Я промолчал. Взяв у него сигарету, зажег, но закурить расхотелось. Хотел потушить, но охранник сердито выхватил сигарету у меня.

– Не переводи добро!

И задымил.

– Пойду на мейдан. В единственном числе...

Он затянулся дымом и выдул мне вдогонку, мне показалось, иронически:

– Когда-то мы видели в нем символ свободы, независимости, символ наших надежд.

Усевшись на стенки бассейна, предавались романтическим грезам, воображали сказочные перспективы, вкушая бутерброды и попивая лимонад, обнимались, целовались, смеялись, веселились, запускали бумажных голубей.

Теперь наш прекрасный эйфорический мир разрушился.

Словно рушилось теплое гнездо, построенное ценой невероятных усилий, и обитатели гнезда разлетелись кто куда; иные подались в дальние края, и теперь в этом гнезде в самый раз было разгуляться морским ветрам. Все обездушилось, обесмыслилось, и в самом воздухе витал мертвенный дух...

Стоя на обезлюдившей площади, я ощущал наитием, в чем корень зла. Над нами довлела тень проклятия. У нас отняли, похитили правду, которую мы искали, к которой рвались... Похитили изначально.

Кожаный дедовский кисет был у меня в руках, и палец мой ощупывал узелок внутри этой кровной реликвии.

Мне казалось, что этот кисет сработан не из кожи сапог моего деда, а из его собственной, и этот узелочек – знак его сведенных в мучительном раздумье бровей, и я во власти этой магической ауры, управляющей моим существом.

И я ощущал болотное дыхание того, что мы принимали за демократию, и слышал поскрипывание дедовских сапог. Те сапоги, которые исходили полсвета властной поступью, теперь пахли не кожей, а бакинской нефтью.

Меня ударили. Сперва по голове, потом – в спину. Боли я не чувствовал. Серые птицы, кружившие надо мной, что-то, казалось, говорили мне на своем птичьем языке. Но они были так высоко и далеко, что я не мог понять смысла их тревожных птичьих слов...

Мне почудилось, что это – полынные чайки, которые привиделись деду моему в смертный час.

В этот момент то ли с Таза-пира, то ли еще откуда вознеслись звуки поминальной молитвы.

Фа-ти-ха-а-а!